

Казанцев Н. В.



ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

ТОМ 1

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Николай Казанцев

Против течения. Том 1

«Алгоритм»

около 1890 г.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Казанцев Н. В.

Против течения. Том 1 / Н. В. Казанцев — «Алгоритм», около 1890 г. — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03970-6

Николай Владимирович Казанцев (1849–1904) – русский писатель, драматург. Родился в купеческой семье. Учился в екатеринбургской гимназии. В 1870-х гг. пошел «в народ» и основал своеобразную колонию в киргизских степях около Петропавловска. Позднее переселился в Екатеринбург и открыл Публичную библиотеку. Большая часть его повестей и рассказов, преимущественно посвященных Уралу, издана в 1898 г. Написал также ряд драматических пьес. Некоторые из них, например «Всякому свое», шли на сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Публикуемый на страницах данного двухтомника роман «Против течения» всеохватно и образно запечатлел жизнь допетровской Руси – патриархальность боярских вотчин, народный быт, еще полный обрядовой прелести и единения с природой, безудержность жигулевской воровской вольницы и вместе с тем проникновение в общество прогрессивных веяний, идущих «против течения»... Особое место отведено здесь теме бунта казаков Степана Разина, своеобразный облик, дикий нрав, необузданность натуры которого находят выражение в ряде ярких эпизодов. Самостоятельной ценностью обладает язык романа – колоритный, наполненный отжившими ныне выражениями и интонациями.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03970-6

© Казанцев Н. В., около 1890 г.

© Алгоритм, около 1890 г.

Содержание

Часть I. Бояре и холопы	7
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Н. В. Казанцев
Против течения. Том 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

* * *

Часть I. Бояре и холопы

I

Раннее утро.

Небольшой двор самарского воеводы был почти пуст. Налево от ворот возвышались хоромы, в которых жил сам воевода, направо стояла большая изба с гербом: приказная изба. У высокого крыльца воеводских хором – на часах стрелец с мушкетом в руках. У дверей приказной избы толпилось человек десять разного люда.

Староста одной из недалних поволжских деревень Митяй Клинобородов, крепостной холоп боярина Артамонова, пришел сюда искать управы на местного купца Дюкача. Подошел срок платить оброк барину – десять алтын¹, а собрать его Митяй не смог: неурожай, к тому же часть крестьян в бегах... Купец же не признается, что прошлый год брал у Митяя пшеницу – как раз на восемь алтын. Не может Митяй без денег вернуться домой, и купца ему не под силу одолеть – одна надежда на воеводу.

Митяй человек бывалый, но с опаской приближается к приказной избе. Место серьезное!

Растолкав народ, Митяй замешкался у крыльца, осмотрелся. Здесь оказался еще один стражник – презрительно глядел поверх голов, однако на вид был суров и при оружии. Перед окнами избы возвышалась большая скамья со вбитыми в нее железными кольцами; угадать назначение этой скамьи было нетрудно: это была скамья для правежа (наказания). В больших сенях приказной избы стоял земский ярыжка², а у самых дверей – стрелец.

На самом крыльце приказной избы Митяй встретил своего знакомого Романа, по прозванию Синица, крестьянина соседнего черносошного села Крутой Яр.

– Это ты, Синица? – окликнул Митяй, радуясь, что видит знакомого человека там, где думал встретить только одни грозные очи воеводы или воеводского дьяка³.

– А то кто же, – угрюмо отвечал Синица. – А тебя за что взяли, земляк?

– Никто не взял, я сам пришел к воеводе челом бить: купцы обижают больно, – отвечал Митяй.

– Что больно шибко разговорились, здесь не базар, а приказ, – крикнул из сеней земский ярыжка.

– Земляки, – пояснил Митяй.

– Прости, осударь, – сказал Синица, низко кланяясь земскому, – я сейчас уйду. Дождусь тебя, – кивнул он Митяю.

«Вот бы с кем дружбу свести!» – смекнул Митяй, глядя на самодовольное лицо ярыжки. И тоже отвесил ему земной поклон.

– Осударь, прости... Ты видел тут всякого, не присоветуешь, как дело скорее сладить? Уж кто лучше тебя здешние-то порядки знает...

– Ты, я вижу, охотник калякать-то, да сухая ложка нашему брату рот дерет; изволь, все расскажу, проведу без очереди в приказную избу и, если можно, помогу, только знаешь... того, – сказал ярыжка, понизив голос.

Митяй был человек опытный, он шел хлопотать о восьми алтынах, так куда ни шла денга: развязав кошель, он подал ярыжке денгу. Тот осклабился и ласково сказал:

¹ *Алтын* – старинная русская монета и счетно-денежная единица, равна шести деньгам.² *Денга* – старинная русская монета и счетно-денежная единица, позднее получила название копейка.

² *Ярыжки* – в Русском государстве XVI–XVIII вв. низшие полицейские служители в приказах.

³ *Дьяк* – в Русском государстве XV–XVIII вв. должностное лицо, ведущее дела какого-либо приказа.

– Воеводу тревожить изю всякой малости не след, разве когда большое дело, то разбирает воевода или его помощник, а малые дела зався разбирает старший дьяк; а какое твое дело?

Митяй рассказал о своей беде.

– Ну, не стоит воеводу беспокоить, – сказал ярыжка, выслушав внимательно Митяя. – Твое дело ни воевода, ни помощник и слушать не станут; дело небольшое, – его и дьяк разберет. А у кого сваливал хлеб-то?

– В амбаре купца Дюкача.

– Хозяин у воеводы был утрось, подожди, я спрошу, – и ярыжка ушел в избу.

Митяй повесил голову. «Пропадут, видно, мои восемь алтын», – подумал он.

Из приказной избы вышли два человека: один, одетый в бедный кафтан, шел понуря голову; другой, в новом кафтане, по виду зажиточный посадский, глядел весело.

Позвали Митяя. Перекрестясь и вновь сотворя молитву, он вошел в приказную избу. В большой просторной комнате приказной избы, выстроенной из соснового леса, было три красных (больших) окна, выходивших на воеводский двор. В комнате стояли два больших стола: один в переднем углу, другой поодаль. Кругом шли широкие лавки. За столом в переднем углу сидел присяжный дьяк Парамон Степанович. Он был еще молодой человек, недавно произведенный в свое звание из старших подьячих приказной избы, но уже умел себя держать с достоинством, чему научился у прежнего дьяка, своего благодетеля, на которого он донес что-то воеводе, почему и сел на его место. Дьяк одет был в новый кафтан и шелковую ферязь⁴. Перед ним лежали бумаги и стояла большая чернильница, в которой торчало несколько перьев – гусиных и лебяжьих. За другим столом сидели три подьячих приказа в таких же кафтанах, но без ферязей; перед ними были также бумаги, чернила и перья. Несколько сухих перьев валялось около стола. Направо помещалась русская печь, расписанная яркими красками. В переднем углу висела большая икона Спасителя.

При входе Митяя дьяк строго взглянул на него и, важно откидывая длинные рукава своей ферязи, спросил:

– Ты что за человек и чего тебе нужно?

– Челом бить пришел к твоей милости: купцы обижают. – И Митяй рассказал свое дело. Дьяк насупился: он вчера только обедал у купца Дюкача, своего кума и приятеля.

– А откуда ты и есть ли у тебя писанный вид? – спросил он строго, не давая Митяю окончить своего рассказа.

– Я боярина Артамонова, Сергея Федорыча, крепостной холоп; у меня и грамотка есть от боярина, – отвечал Митяй и вынул из-за пазухи кошель, а из него замасленную бумажку.

– Прочти, – сказал дьяк подьячему.

Подьячий прочел: «Мой крепостной холоп Митяй Клинобородый послан в город Самару, для продажи разного скарба и моих боярских дел. Прошу приказных людей его не задерживать и обид ему не чинить. Боярин Артамонов».

– Правда, эта грамотка от боярина Артамонова; да кто поручится, что ты, бесов сын, не украл эту грамотку у какого пьяного холопа, – сказал дьяк и подозрительно поглядел на Митяя.

Митяй много видел грозных очей на своем веку и привык выдерживать и не такой взгляд своего боярина, и потому, как ни строг был взгляд дьяка, он довольно бойко отвечал:

– Коли не веришь, пошли спросить боярина.

– Ну, ладно, поверим, – отвечал дьяк и прибавил, обращаясь к подьячему: – Челобитную Митяя Клинобородова, крепостного холопа боярина Артамонова, буде она у него написана, принять, а не написана, то сейчас записать и взыскать с него алтын.

– Челобитную давай, али не писана? – спросил Митяя подьячий.

– Нетути, не писана, – отвечал тот.

⁴ Ферязь – старинная женская или мужская распашная одежда, с завязками впереди, тип длинного кафтана без воротника.

Подьячий быстро начал писать, скрипя гусиным пером по синей негладкой бумаге; Митяй стоял и что-то соображал.

– Ну, готово, плати алтын и ступай, – сказал подьячий, бросив свое писанье.

– Ну а дело-то как, когда его то есть будут разбирать? – спросил Митяй дьяка.

– Об деле ты понаведайся эдак месяца через два, а коли есть свидетели, то и их тогда приведи, мы и разберем как следует, – сказал Парамон Степаныч.

Митяй почесал за ухом: «Не бросить ли лучше, – думал он, – шутка дело, понаведайся месяца через два, да свидетелей води, да деньги за челобитную плати, а деньги-то, видно, все равно пропадут».

– Нельзя ли теперь бы разобрать дело; и я, и свидетели, и приказчик здесь, в городе, – сказал он, низко кланяясь дьяку.

– Не твое дело назначать сроки, плати алтын и пошел, – грозно отвечал дьяк.

Митяй вновь почесал за ухом.

– Боярин, – сказал он, называя дьяка боярином из желания польстить, – я дело хочу бросить, алтын-то с меня уж не бери.

– Запиши мировую, – сказал дьяк подьячему, – и взыскать с него еще алтын за запись.

– За что же, боярин, помилуй, – завопил Митяй, кланяясь в ноги дьяку.

– За то, не утруждай напрасно начальных людей из-за всяких пустяков, – отвечал подьячий за дьяка, который, как будто не слыша вопля Митяя, с важным видом рассматривал лежащие перед ним бумаги.

– Ярыжка, выведи его и взыщи два алтына, а не заплатит, так удержи, – продолжал подьячий, обращаясь к ярыжке.

Жаль стало Митяю своих двух алтын, которые приходилось ему платить за свою же обиду.

– Я до самого воеводы хочу дойти, – сказал он.

– Ага, буянить, после мировой записи снова жаловаться; хочешь правез спытать – изволь, – сказал дьяк, лукаво улыбаясь. – Ярыжный, выведи его, а если не заплатит, то удержи и завтра на правез.

– Заплати, – сказал Митяю в сенях ярыжка, – а то худо будет.

– Сила солому ломит, – сказал Митяй и, вновь развязав кошель, подал ярыжному два алтына.

Грустно опустя голову, вышел Митяй на двор. «Вот те – суд, вот те – пожаловался, – думал он, – а все это от того, что к самому воеводе не дошел; воевода не обидит, как можно: он именитый боярин, не хуже нашего боярина. Разве дойти? – А нет, страшно; а как же десять-то алтын, неужели пропадут? Да, видно, пропадут, пропадут, а дома боярин оброк спросит, и то только до базару сроку дал. Что делать?» Так рассуждал Митяй, идя к воротам. Позади него что-то зашумело. Митяй оглянулся. К крыльцу воеводских хором подъехала колымага, запряженная парой огромных, откормленных серых жеребцов. Дверь в хоромах воеводы отворилась; на крыльцо вышел человек лет сорока пяти, высокого роста, закутанный в темно-зеленый бархатный охабень⁵, опущенный соболями, в высокой куньей горланьей⁶ шапке. Перед ним шел пристав, а позади два холопа, в кафтанах из желтого сукна.

«Это сам воевода!» – сказал сам себе Митяй. Сожаление о десяти алтынах взяло верх над страхом, и он быстро подбежал к воеводе и бросился в ноги.

– Прочь, – закричал пристав.

– Боярин, рассуди, – зарыдал Митяй.

– Поди в приказную избу, – отвечал воевода.

⁵ *Охабень* (охабень) – старинная боярская одежда, кафтан с откидным меховым воротником и прорезами для рук.

⁶ *Горланий* – отделанный мехом.

– Я был там, рассудку никакого не дали, рассуди сам, кормилец: я холоп боярина Сергея Федорыча Артамонова, он с твоею милостию знается.

Жалобный ли вид Митяя, или имя знакомого боярина произвели впечатление, но воевода велел крикнуть дьяка. Дьяк прибежал в одну минуту; полы его ферязи развевались от ветра. Подавшись всем корпусом вперед и оправляя длинные рукава ферязи, он наскоро объяснил воеводе, что дело Митяя покончено, что он сам пожелал прекратить его миром, а теперь вновь жалуется.

– Негодяй, – крикнул воевода, – пустяками беспокоишь государевых людей; я бы тебя за твою дерзость на правеж послал, да уж по знакомству с твоим боярином – прощаю. Прогоните его!

Разговор был закончен, и воевода сел в колымагу при помощи пристава и холопов. Холопы вскочили на подведенных им коней, и колымага с шумом отъехала от крыльца. Митяй бросился бегом к воротам, провожаемый смехом стрельцов и холопов.

– Обида! – сказал Митяй, отходя на приличное расстояние от воеводских ворот, когда уже никто не мог слышать его.

– Обида! – повторил подбежавший к нему Синица. Митяй рассказал свое дело Синице.

– Тебе еще хорошо, – отвечал Синица, – ты дешево отделался: боярина твоего знают, вот и отпустили, а меня-то как избидели – страсть, разорили совсем; две недели здесь высидел, да били-то как – страсть.

– Да за что же? – спросил Митяй.

– Да, вишь, у нас в селе-то пристав, что ли, подьячий ли воеводский стоит с двумя ярыжными да тремя стрельцами, недоимку, значит, выбивают; ишь, губному⁷ старосте, воеводе ли вздумалось недоимку скорее собрать, подможные деньги, да казенную недоимку, да стрелецкий хлеб. Ну, знамо дело, теперь весна: где возьмешь денег, – у иного и хлеба-то до нови не хватит. Вот хотели меня на правеж вести да корову продать. Я думал уйти от побоев, ан здесь еще хуже. Думал, значит, за недоимку-то здесь жеребенка продать, чтобы корову, значит, не продали, дома-то тоже ребяташки молока просят. Вот отпросился у пристава на три дня, угостил дядю Михея, он за меня поручился, а корову-то в заклад взял. Отпустили. Продал я здесь жеребенка, дешево взял, а подросток был славный: мой большой-то мальчишка больно его любил, сам, бывало, куска не доест, а его накормит. Горько мне стало, что дешево пошел жеребенок, с горя-то я и выпил, значит. Еду, значит, по базару, а навстречу мне другой мужик едет с бочкой воды. Мы и зацепились ось за ось. Я кричу: «Приостановись», а он ударил по своей лошади: у меня ось сломалась, а у него бочка перевернулась. Он меня выругал, а я его; он вскочил да давай меня бить. Он был любимый холоп губнова, а я про то и не знал. Подошли стрельцы, смеются; я говорю: «К воеводе пойду али к губному с жалобой»; а они знай смеются да потешаются надо мной; больно мне стало, досадно, – я и вымолвил: «На вас, видно, одна управа-то – Жигулевские горы да батюшка Степан Тимофеевич». Только вымолвил я это слово, стрелец закричал: «Слово и дело». Меня взяли. Две недели у губного в лапах был; били больно да и лошадь-то продали, а деньги все на писцов ушли; теперь пешком идти должен; да и дома не знаю чего делается. – И Синица заплакал.

– Я тебя довезу, по пути, – сказал Митяй.

– Спасибо, дядя. Да вот уж што: у меня осталось еще алтына четыре, а спина-то страх как ноет, пойдем, хватим кружку в царевом кабаке.

Митяй вздохнул, он неохотник был ходить по кабакам; но ноне дело особенное, товарищ попался, у товарища горе, да и он-то, почитай, в беде: выпьешь – авось будет легче.

В кабаке было много народу. Базар подходил к концу, и всяк на прощанье заходил хлебнуть на дорогу живительной влаги.

⁷ Губной – в Русском государстве XVI–XVIII вв. чиновник, ведавший сыском-судом по уголовным делам.

«Пьяному по колени море», – говорит пословица, и едва Митяй и Сеница кончили свою кружку, как начали оживленный разговор с новыми знакомыми.

– Обида, – говорили они, рассказывая про свои дела.

– Обида, – слышалось и в других местах. Всяк жаловался на обиду и притеснения – кто воеводы, кто дьяка, кто губного, кто ярыжного, а кто боярина. Конечно, в другое время и в другом месте эти люди не смели бы так открыто высказывать свои претензии не в далеком расстоянии от губного приказа и правежа у приказной избы; но это было в царевом кабаке, и люди эти выпили по кружке вина, что развязало им языки.

В темном углу кабака, беспрерывно похлебывая из кружки вино, сидел человек высокого роста лет сорока, в высокой шапке, без кафтана, в одной рубахе. Красное, как бы опухшее лицо этого человека показывало, что он часто беседует с кружкой. А большие красноватые глаза, порой метавшие искры, а порой тревожно посматривающие по сторонам, намекали, что этот человек не прочь решиться на всякое отчаянное дело. Это был тип тогдашней понизовой вольницы. Он не вступал в разговоры, а только прислушивался к жалобам и зорко посматривал по сторонам.

Заходившие выпить приходили и уходили. Собрались уходить и Митяй с Сеницей: они вышли на крыльцо, за ними последовал и высокий незнакомец. На крыльце у Митяя с Сеницей вышел спор: Митяй звал домой, а Сеница просил воротиться в кабак еще выпить, потому обидно очень.

– Недолго вам тужить и маяться, – сказал высокий незнакомец, – нынешним летом из Персидского царства батюшка Степан Тимофеевич воротится к нам на Волгу и даст расправу начальным людям.

– Какой еще там Степан Тимофеевич, айда скорее домой, – уговаривал Митяй Сеницу.

– Аль ты Степана-то Тимофеевича не знаешь? – приставал высокий незнакомец. – Аль не слыхал, как он в запрошлом-то году Яик взял да воеводу повесил?

Раздался громкий крик: «Слово и дело». Крик этот всполошил всех толпившихся около царева кабака. Не хуже набата произвел он действие на праздных гуляк. Куда девался хмель, куда девалось желание выпить: все бывшие в кабаке и около кабака бросились врассыпную от места, где было произнесено это страшное слово, не разбирая даже, кто кричал его. Около дверей кабака остался только человек, который настрашал всех этим криком и у которого на груди была медная бляха с буквами З. Я., и высокий незнакомец, которого ярыжка держал за ворот и боролся с ним изо всех сил; да около крыльца в грязи барахтался один пьяный; он не убежал да и не мог убежать: его в эту минуту не мог испугать и гром небесный.

Высокий незнакомец выхватил из-за голенища своего сапога нож: ярыжка отступил, и незнакомец побежал через базарную площадь.

– Держи, держи! Слово и дело! – кричал ярыжка, догоняя незнакомца и указывая на него трем проходившим стрельцам. Те бросились в погоню.

Митяй и Сеница, едва переводя дух, добежали до воза, выхватили поводья лошади из рук караулившего ее мальчика, бросились в телегу и во весь дух поскакали к заставе.

– Не хочешь ли еще воротиться выпить? – поддел Митяй Сеницу, когда проехали заставу.

– Нетути, не надо, айда домой, – отвечал тот.

– То-то, ведь я тебя давно звал из кабака: пить до дна – не видать добра, опять чуть-чуть не вляпались в беду. Ведь этот проходимец-то, из-за которого, сломать ему шею, мы чуть не попали в беду, знаешь кто?

– А кто?

– Да жигулевский разбойник Вакула, я его не раз видал.

– Тут-то кабы и впрямь Степан-то Тимофеевич к нам на Волгу пришел, – сказал, раздумывая, Сеница.

– Придет да уйдет, а тут отвечай, – пробормотал Митяй.

– Все же вволю погуляем.

– Гуляй и теперь, коли охота есть: Жигули-то близко.

Проехав верст двадцать, Сеница слез с телеги Митяя и пошел в свое село, которое лежало у самой дороги. Было уже за полночь. Без дороги, задами, через гумно и огороды бежал Сеница к своему двору. Он вошел в улицу, прошел несколько скривившихся набок изб своих соседей и остановился, переводя дух, у ворот своего двора. Ворота, сбитые из пяти жердей, были настежь отворены.

«Экая оказия, без хозяина-то дом плачет, вона и ворота Яшка не запер; долго ли до греха, корова сойдет и не отыщешь после», – так говорил про себя Сеница, входя на двор.

Он низко наклонился и вошел в сени.

«Что за оказия – и дверь в сени отворена», – подумал Сеница, наклоняясь еще ниже и проходя в темную избу.

– Эй, Акулька, Яшка, Сенька! Где вы, пострел вас возьми! – кричал Сеница, но ответа не было, в избе было тихо. Сеница начал ругаться, обошел всю избу, влез даже на печь, но печь была не топлена. Сеница был не из храбрых; один в пустой да еще не топленной, стало, нежилой хате, в которой, кто знает, не было ли недавно покойника... все это быстро сообразил он. Ему стало жутко, и он вышел из избы на улицу.

«Куда теперь ночью идти, кого спросить? Зайти разве к Ваньке Косуле: он мой шабер и, чай, знает, куда все мои девались», – подумал Сеница и направился к стоящей рядом избе, которая почти развалилась и без двора и ворот стояла в ряду других изб, грустно смотря на улицу своим единственным окном, с брюхавицей вместо стекол.

Косуля был молодой, здоровый детина высокого роста. Он страшно косил обоими глазами, за что и получил свое прозвище. Он был такой же бедняк, как и Сеница, пожалуй, еще беднее, и вдобавок бобыль. Не слезая с лавки, на которой спал, Косуля объяснил Сенице, что подьячий ждал его три дня, а на третий день продал корову. Жена Сеницы, Акулина, в прошлый базар ездила в город узнать о муже и узнала, что он попался к губному. Тут у ней умер старший сынишка, и она с другим грудным ребенком ушла жить в другую деревню, к своему отцу, а меньшей брат Сеницы, Яшка, пошел к попу в кабалу.

Сеница задумался, выслушав рассказ Косули. Косуля, страшно кося глазами, сидел перед ним. Сквозь бараньи брюхавицы едва заметным тускло-желтым лучом пробивалась струя утреннего рассвета.

– Вот и мою избу продали за недоимку, дядя Михей купил на дрова. Завтра ломать будет, последнюю ночь ночью в своей избе, – жаловался Косуля.

– А кто корову-то купил? – спросил вдруг Сеница.

– Знамо кто, дядя Михей, один у нас комтан-то. Думаю уйти, – отвечал Косуля.

– Куда?

– Знамо, не к попу в кабальные и не к боярину в холопы. В Жигули – меня туда звали.

– Косуля, голубчик, и я с тобой! – закричал Сеница. – Что мне здесь делать: лошади нет, коровы нет, большой парнишка умер, Акулька-то и у отца проживет, а на Волгу, слышь, скоро Степан Тимофеевич сам прибудет.

– Знаю, оповещали, – отвечал Косуля. – Третьего дня один старец приходил сюда, у меня ночевал, богомольный такой. «Я, говорит, к богатому не пойду, а к самому бедному, говорит, зайду». Видно, что Божий человек. Много он мне хороших речей говорил; вот и Парфен был в тую пору у меня, и он слышал. «Хотят, говорит, веру Христову переменить, Никон какой-то себя на место Христа поставить хочет. Вот, говорит, Степан-то Тимофеевич идет веру Христову защищать. Вы, говорит, не ворами будете у Степана Тимофеевича, а веру защищать будете». Вот оно что.

– Айда. Вот только избенку-то продать бы надо.

– Что за ней гнаться, много ли за нее дадут. Можя, опять баба домой придет, жить в ней станет, а может быть, и мы придем: кто знает.

– Когда же в путь-то?

– Да хоть ноне же.

Сборы были коротки. Косуля сбегал за полкружкой вина. Выпили. Взяли два узелка печеного хлеба да пару топоров. «Вместо грамотки на пропуск», – сострил Косуля. И вставшие поутру к выгону табунов жители Черного Яра увидели только двух пешеходов, бойко идущих в стороне от дороги по направлению к Волге.

II

Воевода Иван Данилович Алфимов уже два года воеводствовал в Самаре. По общему приговору всех проживающих в Самарском округе⁸ бояр и дворян, он был душа-человек. Служилые люди также любили Алфимова и часто приносили ему поклонное, а воевода в свою очередь угощал служилых людей и даже знатных, богатых купцов столами. У него справлялись столы почти каждую неделю, и каждый раз являвшиеся гости приносили на поклон поминки, кто чем был богат. И вот в два года Иван Данилович зажил богато. Но он никого не притеснял из-за поминок: их несли ему сами. Воевода редко ходил в приказную избу, поручая разбирать тяжбы своему помощнику и дьяку; а когда разбирал дело сам, хотя это случалось довольно редко, то большею частью приводил спорящих к мировой сделке, стараясь уладить дело по возможности безобидно для обеих сторон, и с обеих сторон получал поклонное. Вообще общий голос одобрял Алфимова: говорили, что с таким воеводой жить еще можно.

Теперь он ехал на вечерок поиграть в шахматы к губному старосте. Дом губного старосты был на той же улице, не в далеком расстоянии от дома воеводы: в хорошее летнее время не стоило впрягать пару лошадей, чтобы проехать это расстояние, но идти пешком по городу, да еще в базарный день, – воевода, по свойственной тогдашнему времени гордости, считал неприличным: не будет должного уважения к его сану и его достоинству, а это высоко ценили воеводы. Да и русский народ издавна свыкся с этой мыслью и привык уважать более наружный блеск и богатство, чем личные качества.

Вестовщик был послан заранее уведомить губного, что воевода едет к нему, почему губной встретил воеводу в сенцах, а не на крыльце, потому что и губной был не простой человек, а человек служащий, судейский, государственный, следовательно, мог позволить себе это право. На губном был кафтан, отделанный позументами. На правах хозяина дома губной был без шапки.

Это был человек лет за пятьдесят, небольшого роста, тщедушный, но довольно бойкий и вертлявый, с небольшой лысиной на голове, с небольшой бородкой с проседью и бойкими глазами. Звали его Иван Степаныч Лапкин. Он служил прежде подьячим в губном приказе, потом дьяком приказной избы, подластился к воеводе и самарским боярам и дворянам, и вот теперь служит по выбору губным старостой уже шестой год, и успел приобрести себе небольшую вотчину⁹, душ в семьдесят, и много у него разного добра в сундуках и кладовых. Дом у губного был свой, на самом лучшем, веселом месте города; он весело смотрел на улицу своими окнами с зелеными ставнями.

По русскому обычаю, воевода и губной три раза поцеловались и вошли в большую, предназначенную для приема гостей палату. Главным украшением комнаты были стоящие в переднем углу, на сосновых полках, иконы в резных деревянных киотах. Перед иконами теплились две лампы. Внизу икон были подвешены полотенца и платы из тонкого льняного холста,

⁸ *Округ* – административное подразделение государственной территории.

⁹ *Вотчина* – родовое, наследственное землевладение.

привезенного из разных мест на поклон губному, и вышитые по концам и углам разноцветным шелком работы дочери губного. Впереди на узорчатом ковре стоял стол, накрытый бранной¹⁰ скатертью, на которой были вышиты разноцветными шелками фигуры, изображающие тарелки, блюда, ножи, вилки и ложки. Стол был уставлен множеством блюд с пирогами и другой холодной закуской, а между блюдами возвышался графин фряжской¹¹ водки и несколько бутылок пива и меда различных сортов, приготовления хозяйки дома, жены губного. По стенам шли дубовые лавки, устланные коврами и тюфяками. Около стола стояли три стула. Под одним из окон стоял стол без скатерти, окрашенный красной краской с зелеными разводами. На столе лежала большая толстая книга, переплетенная в красную юфтяную кожу. На книге крупными буквами из сусального золота красовалась надпись: «Уложение царя Алексея Михайловича». Около книги стояла чернильница, лежало несколько листов чистой неписаной бумаги и гусиное перо. У другого окна стоял небольшой шахматный столик, на котором губной часто играл в шахматы с воеводой, с воеводским помощником, приезжающими из округа боярами и дворянами, кумом своим, именитым купцом Дюкачем, и с своим дьяком.

Войдя в комнату, воевода помолился на иконы и вновь отвесил поклон хозяину, который в свою очередь также поклонился.

– Здорово поживаешь? – спросил воевода.

– Слава богу, вашими молитвами живем помаленьку, милости просим нашего хлеба-соли откушать, – отвечал с низким поклоном губной.

– Много благодарен, – сказал воевода. – А! Да у тебя и Уложение на столе: по всему видно, что служащий – государев человек, – добавил он, указывая на стол, где лежала книга.

– Как же! Усердствуем, обучаемся, что чинить нужно по воле и указу нашего государя, – отвечал губной, польщенный замечанием воеводы.

– Да ты, чай, все знаешь, тебе и учиться нечего?

– Нельзя не знать, боярин: шестой год по губной части старостой служу да сколько лет дьяком состоял.

– И опять тебя выберем: ты свое дело знаешь.

– Спасибо на милости, – с поклоном отвечал губной. – Дай Бог еще послужить, – добавил он, взглянув на иконы.

– И послужишь, – продолжал воевода, – только вот перед выбором-то надо будет тебе кой к кому из бояр и дворян съездить с поклоном.

– Да, надо будет, да признаться, все они мной довольны; только вот за последнее время Сергей Федорыч что-то не совсем меня жалует.

– Что ж, и ему поклонись, голова-то, чай, не отвалится... Вот что, я буду на Троицу у Сергея Федорыча; приезжай и ты туда, и я замолвлю словечко.

– Спасибо, боярин. – И губной вновь поклонился.

– А что, много дел-то у вас по губе? – спросил воевода.

– Да таки довольно. Сегодня поймали двух. Да что попусту дорогое время тратить, боярин, садись за стол, хлеба-соли откушай, да и потолкуем.

Воевода сел за стол в передний угол.

– Да вот еще что, – продолжал губной, – не в обиду тебе, боярин, если сегодня вечером ко мне Дюкач будет? Он и мастер в шахматы, и страх любит глядеть, когда играют хорошие игроки.

– Что ж, – отвечал воевода, – он и у меня бывает иногда; это наш первый купец и хлебный торговец во всем округе.

¹⁰ Браный – вытканый с узорами.

¹¹ Фряжский – иноземный, по преимуществу – итальянский.

– Да, именитый человек, одного капитала наличными тыщи три будет; его нельзя не принять, – говорил губной, наполняя кубок медом и подавая с поклоном воеводе, но тот повернул кубок хозяину. Губной перекрестился на иконы, поклонился воеводе и выпил кубок, потом вновь наполнил его и подал воеводе. Воевода встал, перекрестился, поклонился хозяину и опорожнил кубок.

Покуда происходила эта церемония, разыгрывалась драма в кабаке; пойманного земским ярыжкой и стрельцами разбойника Вакулу вели на двор к губному.

Чуткое ухо губного услышало гам на дворе: он бросился к окну и, видя процессию, кликнул в окно ярыжку. Тот подбежал к окну и объяснил, в чем дело.

– Вот, боярин, – сказал губной, обращаясь к воеводе. – Опять ярыжка задержал сегодня какого-то вора, который хвалился, что Стенька Разин придет на Волгу. Часто стали попадаться ноне колодники за эту хвальбу.

– Что же ты будешь делать с этим вором? – спросил воевода.

– Я прежде за такие слова сек кнутом да недели по две, по три в тюрьме держал – и только; да стали ноне больно часто попадаться с этими богомерзкими речами: этого колодника я порасспрошу хорошенько.

– С пристрастием?

– Да, согласно Уложения, – отвечал губной. – А что как и впрямь к нам Стенька нагрянет? – добавил он, с опаской взглянув на воеводу.

– Эх, куда хватил, – отвечал воевода со смехом. – А астраханский-то воевода на что: чай, он из Хвалына-то не придет прямо в Самару, минуя Астрахань; не будет же Прозоровский сидеть сложа руки. Если бы была какая опасность, то гонец бы из Астрахани приехал, а то ничего нет.

– Известно, вам лучше знать: охрана границ дело воевод, а наша часть особливая.

Вошел старик, осанистого вида, с заметно выдавшимся вперед брюшком и с жирным, добродушно-лукавым лицом. Это был купец Дюкач. Помолясь на иконы, он низко поклонился господам и, переминаясь с ноги на ногу, встал у двери. По обычаю, купцу не следовало водиться с такими большими господами, как воевода и губной, и если Дюкач принимался у них в виде исключения, то это благодаря только его состоянию, а также кумовству с губным и положению по службе. Дюкач служил по выбору целовальником¹² в губном приказе. Дюкач знал все это, ценил ласки, но не забывался и держался поодаль с почтением, как оно и положено.

– А вот, Дюкач, – сказал шутя ему губной, – открывай-ка свои лавки и амбары, слышь, Стенька Разин идет к нам, раскошеливайся-ка.

– Идет или не идет Стенька, – отвечал Дюкач, – про то царским воеводам знать должно: они нас и защитят от воров и разбойников. На то они и царем-батюшкой поставлены и Господом Богом помазаны.

– Ай да Дюкач, умный человек, рассудил как подобает; поди сюда, умная голова. Иван Степаныч, налей-ка ему чарочку фряжского, – весело говорил воевода.

– Выпей, Дюкач, да садись, – сказал губной, подавая старику чарку фряжского вина.

Дюкач перекрестился, поклонился воеводе и губному, отер усы и бороду и выпил чарку, после чего вновь поклонился и отер усы, а потом сел у двери на скамью.

– Пора и за шахматы, – сказал воевода.

– Шаматы не уйдут, а вот выкушай-ка меду или фряжского; да сейчас моя старуха вина заморского принесет, – предложил губной.

– Позвольте, бояре, слово молвить. Хорошо заморское вино, вот если бы и люди за морем были хорошие, – вставил Дюкач.

¹² *Целовальник* – должностное лицо в Русском государстве XV–XVIII вв. Избирался для выполнения финансовых или судебных обязанностей; клялся честно выполнять их (целовал крест).

– А ты думаешь, нет за морем хороших людей? – отвечал воевода. – Нет, Дюкач, и за морем есть хорошие и умные люди. Вот я в Москве от боярина Матвеева слышал о французском воеводе Ришелье; он и главный воевода, по-ихнему министр, и архиерей – а умная голова.

– Стенька Разин пришел! – раздался громкий визгливый крик за дверьми. Воевода и губной вздрогнули, Дюкач чуть не свалился со скамьи.

Дверь отворилась, и в комнату кубарем вкатился маленький человечек-горбун в красной рубахе и высокой казацкой шапке, с деревянной саблей в руках.

– Максимка, шут гороховый, зачем так напугал? – крикнул губной.

Максимка выпрямился, насколько позволял ему горб, и, глядя в упор на губного, в свою очередь крикнул:

– Ах вы царские воеводы, губные, большие бояре и весь ратный собор, Максимки-шута испугались: куда вам уж со Стенькой драться.

– Опять это богомерзкое слово, – сердито сказал губной. – Я тебе приказываю больше не говорить про Стеньку, а за сегодняшнее выпорю.

Максимка насупился и плаксиво отвечал:

– На то я холоп, чтобы меня бить; вы – большие бояре – не только меня, но и самого Стеньку побить можете, только боитесь.

– Вас уж вместе поколотим, – засмеялся воевода.

– Поймай прежде, – крикнул Максимка и кубарем выкатился из горницы.

– Я его проучу, – гневно сказал губной, которому, неизвестно почему, была не по сердцу такая выходка шута Максимки, хотя ему в другое время многое прощалось.

– Охота связываться с дураком, – сказал воевода. – Что на него сердиться, давай лучше играть.

– Поиграем, – отвечал губной, – а ты, Дюкач, посмотри на игру да помогай хозяину.

– Нет, уж лучше он пускай, как говорят немцы, «нетралет» держит, – сказал воевода.

– Я по-немецки не знаю и приказа твоего не пойму, – с поклоном отвечал Дюкач.

– Это значит – ни тому, ни другому не помогай, а только гляди, понял?

– Понял, боярин.

Началась игра, все смолкло. Воевода и губной внимательно следили за игрой. Дюкач с видом знатока смотрел на доску. День подходил к концу, когда губной проиграл – воевода сделал ему шах и мат. Губной, наморщась, встал, встал и воевода. Начались разговоры об игре.

Дверь гостиной избы отворилась, вошла жена губного – толстая, высокая старуха с красноватым лицом. В руках у нее был поднос, на котором красовался покрытый крышкой серебряный кубок с заморским вином, привезенным губному по случаю астраханскими купцами. Она с поклоном подошла к воеводе и просила выкупить заморского вина. Воевода поклонился, выпил кубок и поцеловал хозяйку. Затем, попросив губного завтра заехать к нему поиграть в шахматы, воевода уехал.

Едва умолк стук колес воеводской колымаги, как на дворе раздался топот лошадей и всадник на лихом игренем¹³ жеребце, в сопровождении двух холопов, подскакал к крыльцу. Молодцевато осадив коня у самого крыльца, приезжий бросил поводья в руки холопов и вошел в сени, а оттуда в гостиную избы губного.

Вошедший был молодой человек лет тридцати с небольшим; высокого роста, с черными густыми волосами, черными, как смоль, усиками и бойкими черными глазами. Маленькая без бакенбардов борода и выдавшиеся скулы напоминали о татарском происхождении.

Бойко бросив на пол соболью шапку, которая смахивала и на боярскую и на казацкую, и верхнее платье – охабень, молодец оказался в синем казакине казацкого покроя, широких казацких шароварах и длинных сапогах.

¹³ *Игреньевый* (игрений) – рыжий, со светлыми гривой и хвостом (о масти лошадей).

– Ах, князь Дмитрий Юрьевич! – воскликнул губной, встречая гостя.

Приезжий, которого губной назвал князем, бросился обнимать хозяина.

– Давно, князь, тебя не видать в городе, – говорил губной, стараясь освободиться от слишком дружеских и крепких объятий князя.

– Нет, постой, – отвечал князь, – я тебя еще поцелую, вот так – в самую лысину, а потом поговорим.

– Где, князь, изволил пропадать?

– А я был, как говорят проклятые ляхи, вензе, в Симбирске был, в Жигулях был, на Волге с соколами охотился. Уток на Волге около Жигулей страсть, а в Жигулях-то я на кабаний след напал, вот что.

– Дмитрию Юрьевичу, князю Бухран-Турукову, мое нижайшее, – сказал с поклоном Дюкач.

– Ах, да ты, бестия, здесь! – весело отвечал князь. – Ну, не бестия ли ты, – продолжал он, – зачем ты меня надул – купил у меня зимой овес по две копейки за пуд и сегодня взял с меня же по алтыну за пуд – а?

– Никак нет, тогда одна цена была, а ноне другая.

– Ну, ладно, убирайся подобру-поздорову, я с губным об деле потолкую. Я-то думал, ты давно почиваешь, куры-то давно на насесте, один ты, индейский петух, не спишь.

– Счастливо оставаться, – с поклоном сказал Дюкач, нисколько не обижаясь на слова князя, причуды которого были ему давно известны.

– А, да вот и фряжеское на столе! – весело крикнул князь и, подойдя к столу, налил и осушил один за другим два кубка.

– Кушай, кушай, – говорил губной, – мы гостям рады.

– Да нечего уж кушать-то, – сказал князь, перевертывая графин вверх дном. – Ведро будет: ничего в графине не осталось. Ну а этого, – добавил он, указывая на бутылки пива и меду, – мне не очень нужно.

– Мы и еще можем подать.

– А мы и еще можем выпить; но не в этом дело; на меня, слышь, сурковские мужики тебе извет¹⁴ подали.

– Да, челобитную по силе двадцать первой главы Уложения, – сказал губной – он начал входить в свою роль судьи.

– Ну, по какой бы то ни было главе, а ты, брат, челобитную-то похерь, вот тебе и «глава».

– Нельзя, князь: по Уложению, губной в случае потери извета, по статье...

– Ну, оставь статью-то, – крикнул князь, перебивая губного, – я все равно их не знаю, да и знать-то не хочу, а похерь, да и дело с концом.

– Скажи по крайности, князь, как у вас дело-то было?

– Дело-то черт знает как стряслось. Я проехал по сурковским хлебам: перепелов там больно много; ну, мужики-то увидели и давай ко мне приставать: зачем хлеб потоптал. Я постегал их нагайкой – они от меня отстали – да в деревню. Да вот как я приехал в Сурки-то – колымага моя там была, – они и стань ко мне всей деревней, человек сорок набралось их на дворе. Я хотел их попугать и выпалил из пистолета, да Филатка Чернявый, знаешь, мой холоп-то, пальнул из мушкета¹⁵, так, для страху, над головами, а не то что в народ. Да пыжи-то, видно, из хлопка были и упали на крышу; крыша-то была сухая, соломенная, ветер на ту пору был, вот крыша-то загорелась и сгорело не знай пять, не знай шесть дворов. Вот и все.

– По силе Уложения...

¹⁴ *Извет* – донос, клевета.

¹⁵ *Мушкет* – старинное ружье крупного калибра с фитильным замком.

– Сказано, без Уложения, – перебил губного князь, – а то Уложения да статьи; а я вот тебе какую статью скажу: знаешь у меня пару буланых, что на Масленой воеводских серяков обогнали, они будут у тебя сегодня же, – вот и все.

– Да, хорошие кони, – отвечал губной, – только овес ноне дорог.

– Вздор, я пришлю овса, чур, кормить их хорошенько. А это вот жене твоей, я давно хотел подарить в день ангела, да все забывал, когда она именинница. – И, говоря это, князь вынул из кармана большой янтарный борок с золотым крестиком.

– Не знаю, князь, как бы воевода не осердился.

– Скажи воеводе-то, ведь вы с ним заодно: и он не будет в обиде.

– А славный у тебя верховой конь, – сказал губной, смотря в окно.

– Игренька-то хорош; ну, этого не отдам, лучше пару других или тройку отдам, коли опять чего-нибудь настрою.

– А пора бы, князь, остепениться, право.

– Остепенюсь, когда у меня будет такая же лысина, как у тебя.

– Да и одеваться-то надо бы по-боярски, по-русски, а то не знай боярин, не знай казак.

– Про длинную-то ферьязь ты мне не пой: она не по мне, еще запутаешься в ней. Я, брат, в казаках служил, так и хожу в казачьем кафтане.

– Да и жениться-то бы пора.

– Женюсь, непременно женюсь: нельзя же, чтобы такие удалые головы, князя Бухран-Туруковы, перевелись, ведь я последний в роде. Ну, однако, прощай.

– Что торопишься, посиди, князь, выпьем еще фряжского или заморского.

– Нельзя, дело есть: я там заметил одну кралечку, под покрывалом она шла, да ветром покрывало-то немного отнесло, я и увидал, – хороша, шельма.

– Ох, князь, не набедокурь еще чего, и то не знаю, как тебя выручать, только по дружбе, а то, кажись, всей Бухрановки не взял бы.

– Ну, ладно, извет-то похерь. Прощай.

– Как-нибудь уладим дело; прощай, князь, к воеводе-то не забудь зайти.

– Небось, свое дело знаю.

– Вот человек-то, зорит сам себя, а нам это на руку, – сказал губной по уходе князя.

Вошли жена губного и его дочь, худощавая девушка лет за тридцать с бледным лицом.

– Посмотри, Акуля, какой подарочек князь тебе привез, – сказал губной, подавая жене борок.

– Ахти, какой хороший, – крикнула Акулина Михайловна, – куда мне такой носить, старухе-то и не пристало; Пашутке это отдам. Ну-ка, примерь.

– Спасибо, родная, – сказала дочь, примеривая борок.

III

В душной и сырой тюрьме самарского приказа сидел вольный сын Жигулевских гор Вакула. Кто был в старых заброшенных подвалах, в которых ничего нет, кроме ключев гнилой соломы и плесени старых стен, на которые не падал никогда луч солнца, – тот будет иметь понятие о тюрьмах России XVII века. Правда, есть небольшая разница: в тюрьмах раздавался звон цепей и стон людей, чего в пустых подвалах не услышишь.

Большой подвал самарского приказа разделялся на несколько темных маленьких тюрем. В одну из таких тюрем посадили Вакулу. Скованный по рукам и ногам, сидел он на полу подвала на кучке гнилой соломы, служившей постелью колодникам. Над ним поднимался низкий каменный свод. В одной из стен, у самого потолка, светилось маленькое окошечко с решеткой. Окошечко было очень мало и узко: в него не могла пролезть голова человека, к тому же оно

выходило на вольный свет около самой земли, почему давало очень мало света и воздуха, хотя, по случаю лета, рама была выставлена.

С Вакулой сидели товарищи: молодой крестьянин и его жена с грудным ребенком. Вакула сидел уже более недели, а товарищи его более двух недель, а с них не было еще снято допроса: губному было не время. В продолжение этого времени Вакула один только раз видел вольный свет: в воскресенье его водили на базар собирать милостыню, которой кормились колодники. От праздности и скуки Вакула рассказывал своим товарищам о своих похождениях на Волге и о том, как он попался в лапы губного.

– Дураком влопался, – заключал он, – а все эта водка наделала: напостился в Жигулях-то – недели три не пил, а попал в кабак и хлебнул лишнее. Теперь отдувайся, Вакула, своими боками, ну, да мне не впервой – опять убегу.

Сначала товарищи его по заключению пугались его свирепого вида и сторонились его, но потом привыкли, и он стал для них своим человеком: ведь он такой же несчастный, как и они. Чувствуя потребность излить перед кем-нибудь горе, они в свою очередь рассказали ему свое дело. Дело их незатейливо. Парень был бедный крестьянин пригородного чернососного села, Никита Федоров; по кабале на три года он обязался караулить лавки самарского купца. Лавки были ночью ограблены, и он заподозрен в соучастии. Жену посадили за то, что она жена его, жила вместе с ним, стало – знает, что сделал ее муж.

– Пытать, чай, будут? – говорила с ужасом женщина.

Муж угрюмо молчал.

– Знамо, пытать: без пытки что за допрос, – отвечал Вакула. – Вам страшно, ну а я-то побывал в переделках – привык; ну а все же скверно, как на дыбу поднимут или плетью полосовать начнут. Ну, да я пришел было сюда своего лихого ворога извести, что невесту у меня отнял, да потом в тюрьму меня упрятал, да не удалось, уехал куда-то. Так я его оговорю: попляшет небось, нешто ему.

На десятый день Вакулу повели к допросу в губной приказ.

В большой избе самарской губы, помещавшейся над подвалами, где содержались колодники, было все готово к снятию допроса. В переднем углу, за большим длинным столом сидел губной староста Иван Степанович Лапкин. Около него сидели два целовальника – купец Дюкач и посадский человек Еремей Тихонов, торговавший прежде старьем, а теперь открывший небольшую лавочку с разным товаром и начавший уже приобретать довольно благовидную, сытую наружность. За тем же столом, у другого конца сидел дьяк губного приказа. Это был не Парамон Степаныч, дьяк приказной избы, а другой – дьяк Павел Васильевич. Он был так же, как и сам губной, тощ, пожалуй, еще тоньше и ниже ростом, только глаза его смотрели зорче и пронзительнее, а приглаженные и шибко намащенные волосы были седее.

В некотором отдалении, за другим столом, сидели подьячие. У дверей стоял пристав и два ярыжки, приведшие Вакулу. Посреди избы стояла скамья с ввинченными железными кольцами. В потолке виднелось большое кольцо и блок с продетым в него канатом. За Вакулой стояли палач и два его помощника.

– Как тебя звать? – спрашивал губной Вакулу.

– Иваном меня звать, – отвечал тот.

– Откуда ты?

– С Волги.

– Из какого села?

– Не знаю, запомятовал.

– Зачем ты хвалился провести сюда вора Стеньку Разина?

– Я не хвалился, а только слышанное сказал.

– От кого ты слышал?

– Ну, этого, боярин, не скажу – запомятовал.

Губной злобно усмехнулся.

– А у кого ты в Самаре притон держал? – продолжал он допрашивать Вакулу.

– Ни у кого: я зря шлялся.

Губной дал знак палачу, и тот при помощи подручных схватил скованного по рукам и ногам Вакулу и повлек к скамье.

– Помилуй, боярин! – завопил Вакула. – Я по всей правде скажу, не пытай только.

– Говори, – сказал губной. Палачи остановились.

– Я, изволишь видеть, про Степана Тимофеевича слышал от здешнего посадского человека Василья Савельева Сапоженкова, у него я и остановился.

Губной взглянул на целовальников.

– Этот Сапоженков здешний посадский человек, и человек хороший, – сказал целовальник Тихонов.

– Человек не бедный, торговлю имеет, – добавил Дюкач.

– Нам-то что, – сказал губной, – в силу Уложения надо записать, потому если он пыткой подтвердит свое показание, то надлежит к пытке привести и Сапоженкова.

Мстительная улыбка промелькнула по лицу Вакулы.

– Твоя воля, – отвечали целовальники.

– Не моя воля, а воля Уложения, – сказал губной, – ты запиши, – приказал он дьяку, – а вы, – прибавил губной, обращаясь к палачам, – принимайтесь за дело.

Вакуле скрутили руки и подняли на дыбу, он застонал.

– Говори, – добивался губной.

– Все, что я сказал, правда.

Палачи сорвали с плеч рубаху и дали Вакуле десять ударов плетью.

– Мне нечего больше говорить, – сказал он, – призови хоть Сапоженкова.

– Надо будет послать завтра за Сапоженковым и при нем сделать спрос, а теперь покуда отведите его и ведите других колодников, – распорядился губной.

Когда увели Вакулу, губной, обратясь к дьяку и целовальникам, сказал:

– А, какво?

– Да, благодать Божия, – отвечал дьяк, – при первом спросе соучастников выдал. – Дьяк при этом улыбнулся и лукаво взглянул на губного.

После Вакулы ввели парня с женой. Парень, как только увидал кнут и палачей, бросился в ноги и закричал:

– Помилуй, боярин, я один виноват, бабу не трогай, она ничего не знала.

Женщина также упала в ноги.

– Ты признался – хорошо, так и запишем, – сказал губной, – но у тебя соучастники были?

– Как же, двое: один Михейка, холоп Сомовский, а другого он привел, я и не знаю, как звать.

Парня, по приказу губного, растянули на скамье и секли плетью. Он кричал, плакал и показывал то же самое. Во время пытки мужа женщина рыдала и, верно, упала бы на пол, если бы ее не поддерживал ярыжка.

После парня начали пытать жену. Трясаясь всем телом, бледная как смерть, молодая женщина положила на пол ребенка и бросилась на колени перед губным.

– Помилуй, боярин, я ничего не знаю, – говорила она.

Оставленный ребенок плакал. Отец, оправя на себе рубаху, подошел и взял его на руки.

– Начинай, – сказал губной.

Палачи схватили женщину, сорвали с нее рубаху выше пояса, растянули на скамье и привязали руки и ноги к железным кольцам.

– Говори, знала ты, когда твой муж воровал? – спросил губной.

– Не знаю, ничего не знаю, – рыдая, говорила растянутая на скамье женщина.

Губной мотнул головой. Палач принялся за дело. Засвистала плеть, раздались крики несчастной жертвы. Женщине дали десять ударов плетью по обнаженной спине, но она ничего не сказала.

– Ну, до завтра, завтра вновь спрос, – пригрозил губной.

Парень и женщина, едва живые от наказания и страха, ушли, всхлипывая и говоря: «Господи, завтра опять такой же страх будет».

– Ну, теперь чего там? – спросил губной.

– Челобитная от сурковских крестьян на князя Бухран-Турукова, – отвечал дьяк.

– Что, больно скоро его дело? – спросил Дюкач.

– Сам просил, – отвечал губной.

Вошли семь человек сурковских крестьян. Они помолились на стоящую в переднем углу икону, низко поклонились губному и дьяку и встали у дверей.

– Вы что за люди? – спросил губной.

– Я поверенный от общества, – отвечал один мужик с седой длинной бородой, – а эти, – добавил он, указывая на других, – те, чьи дома сгорели.

– На что жалуетесь?

– Да как же, кормилец, князь Дмитрий Юрьевич обижает очень, – отвечал тот же старик, – хлеба потоптал, ребят наших избил, да еще шесть дворов сжег, совсем разорил: а ведь тоже недоимку спрашивают и всякие повинности, а чем будешь платить, когда ни хлеба, ни дома нету. Рассуди, кормилец. – И старик поклонился в ноги губному, другие последовали его примеру.

– Как же он запалил, нарочито, что ли?

– Говори, Егор, я ведь при этом деле-то не был, – сказал старик поверенный другому крестьянину.

– Пришли, значит, мы на двор-то к нему, – начал объяснять Егор, – просить стали, чтобы за хлеба, что потоптаны, он заплатил. Он ругать нас стал, да и пальнул из мушкета-то, крыша-то соломенная была, ну – и загорелась.

– Зачем вы пришли всей деревней?

– Хотели, значит, за потоптанный хлеб деньги взыскать.

– Запиши, – сказал губной дьяку. – Сурковские мужики-челобитчики сами признались, что хотели самоуправно взыскать с князя деньги за хлеб. Не иначе для острастки, что ли, он выпалил из мушкета? – добавил губной, обращаясь к крестьянам.

– Знамо, так видно.

– Не в вас стрелял?

– Повыше, значит, немного, в самую крышу.

– Пиши, – сказал губной дьяку, – бить их князь не хотел, а выстрелил для острастки, ненарочито попал в крышу, отчего и приключился пожар. Так ли, целовальники?

– Выходит по их словам – так, – отвечал Дюкач.

Крестьяне молчали. Губной, когда дьяк записал его слова, сказал крестьянам:

– Злого умысла у князя не было, по вашим же словам, он нечаянно попал в крышу, а вы написали извет, якобы он нарочито зажег крышу. Вас за это на правож бы следовало, да князь добрый человек, не хочет искать с вас за извет. Дело ваше, я и целовальники, согласно Уложения, решили так: князя в поджоге оправдать и дело это из дел губных изъять. А о хлебе, якобы потоптанном князем, вы можете просить воеводу, а буде желаете взыскать убытки, – в Москве, в московском приказе.

– Да как же, кормилец... – начал старик.

– Дело ваше у меня кончено: идите к воеводе, коли хотите о хлебе хлопотать. Ступайте.

– Еще с них за бумаги и чернила следует получить, – сказал дьяк.

– Да, я и забыл: заплатите дьяку и подьячим, что следует, без того не выпущу.

Крестьяне уплатили требуемую плату, грустно, опустя голову, вышли из приказа.

– Вот оно что, – сказал старик, выйдя на улицу, – говорит, за хлеб-то в Москве надо искать, а за пожар-то ничего, для острастки, ишь, стрелял.

– Где же она, правда-то? – сказал Егор.

– Видно, в Москве, – отвечал третий крестьянин.

– И в Москве-то то же, чай, – грустно сказал старик, – а вы лучше чем судиться, вот что сделайте – «Поклониться – голова не отвалится», говорит пословица; подите к князю-то да поклонитесь ему хорошенько. Он человек богатый, что ему стоит выстроить шесть изб, к тому же я давно его знаю: он хоть и зорковат, а ину пору добрый бывает, он вас пожалеет. Поклонитесь-ка, – лучше будет.

– Пожалуй, что так, – согласились погорельцы.

– Я и допрежь говорил, что надо лучше князю поклониться, – сказал Егор, – да подьячий научил: «Челобитную, говорит, подайте». А теперь он тут же в приказе сидит да ухмыляется, разбойник.

Вечером того же дня целовальник Еремей Тихонов и посадский человек Василий Сапоженков сидели в новой и просторной избе Тихонова, соседа Сапоженкова, и разговаривали между собой.

– Так ты говоришь, меня пытать будут, коли этот мошенник завтра, под пыткой, оговорит меня? – спрашивал Сапоженков.

– Да, губной сам сказывал, и дьяк Павел Васильевич тоже говорит, – отвечал Еремей, – сегодня хотели тебя взять, да я заручился, значит, а завтра непременно призовут к допросу. Пожалуй, и бабу и ребят позовут.

– Господи, за что это на меня беда такая вышла, – говорил Сапоженков, – вроде я ничем особенно не грешил: посты как следует соблюдаю и нищую братию по праздникам не забываю... За что Господь наказывает?

– Эх, шабер, – отвечал Еремей, – наше дело торговое, что ни скажешь, то и согрешишь. Вот, примерно, ткань, какую продаешь, ситец ли, сукно ли, оно с изъяном, гнилое или лежащее, а мы божимся, что хорошо; и твое-то дело: хоть ты и мелочью торгуешь, а не без греха. Вот недалеко ходить, на прошедшей неделе моя хозяйка у тебя масло деревянное брала, для лампадки, для Господа, значит. Ты заверил, что масло хорошее, а вышло дрянь, да и бутылка-то с трещиной, а она не поглядела, тебе поверила. Оно мелочи, а грех.

– Что и говорить, что ступили, то и согрешили, наше дело такое, торговое, – грустно отозвался Сапоженков.

– А ты лучше дело-то делай, – советовал Еремей, – завтра пораньше к дьяку-то сбегай да поклонись ему чем, – свечей с пуд отвези али мыла и поговори с ним: он уже сам с губным-то поговорит, ну а мы-то свои люди.

– Господи, Господи, не только пуд, три-четыре пуда не пожалею, только бы вылезти из беды.

– Это я сказал пуд на первый раз, когда придешь с поклоном, а то придешь с пустыми руками, он и говорить с тобой не станет. Нет, ты не жалея уж товару-то, пока твое дело не кончено, все губному и дьяку без денег отпускай.

– Вот грех-то, – убивался Сапоженков, – и все это по сердцам Вакулка меня облаял. Он давно на меня злится. Еще когда мы с ним в Лыскове жили, там вздорили, и в тюрьму-то в первый-то раз он через меня угодил, а говорит, я его притон держал.

– Свечей у нас нет, – сказала, войдя в избу, дородная супруга Еремея Тихонова, – послать бы кого к Василью Савельевичу, да малые-то все в разброде.

– Я сам пришло со своими мальцами, сколько нужно, – сказал Сапоженков, вставая.

– Да хоть с полпуда али уж пуд пришли, чтобы не часто брать, – отвечал Еремей Тихонов.

– Сейчас пришло, – сказал Сапоженков.

Выйдя на улицу, он долго молился на церковь и потом пошел домой.

«Разорят, в корень разорят, – говорил он сам с собой. – Вот и шабер и приятель, вместе хлеб-соль водим, а на первый же раз свечей просит, даром ведь, не заплатит: за труды скажет, даром не велик труд – молча сидеть в приказе. Всяк бы ушел эдак-то трудиться».

Всю ночь не спал бедный Сапоженков, а рано поутру побежал к дьяку с поклоном.

IV

Жигулевские горы живописно протянулись по правому нагорному берегу Волги от Симбирска вплоть до Самары. Крутые скалы их местами почти отвесно стоят над водой. Дики, прекрасны эти скалы. Они очень разнообразны: то покрытые зеленой травой, то поросшие густым вековым лиственным лесом, они представляют великолепный ковер зелени; то вдруг выступают глыбы белого известняка. Причудливы формы этих скал. Иные похожи на башни и замки или, вернее, на развалины замков и башен. То открывается целый ряд холмов, красиво образующих великолепные долины, поросшие сочной, в сажень вышиной, травой, которой не знакома была в то время коса, или вековыми лесами лиственных пород, не знакомыми с топором и пилой. Многие из долин кажутся мрачны даже днем, до того они тесны и окружающие их горы круты, а деревья ветвисты и высоки. Некоторые долины, широкие у Волги, выше суживаются и разветвляются на несколько долин, как бы давая убежище приютившемуся тут люду от преследования. Глубокие затоны Волги подходят к долинам, а некоторые входят в самые долины, образуя тихие бассейны вод. Затоны эти поросли густой водяной травой и камышами, в которых живут миллионы разных пород водяных птиц, выющих гнезда в непроходимой чаще высокого тростника.

Любыми породами птиц изобилуют волжские затоны! Краса водяных птиц, белые красноносые лебеди, красуются на их волнах. Серые дикие гуси огромными стаями купаются в их водах. Казарки, или казара, мелкие гуси с коротким клювом и черными перьями на хвосте тысячами летят на ночлег в волжские камыши. Всех пород утки находят здесь себе приют. Раздается громкий крик кряквы; слышно злобное шипенье утки головни или свирька; бледносерый чирок храбро летает у берега; крахарь, постоянный житель вод, выставляет из воды свою головку с тонким цилиндрическим клювом. Порою он вспорхнет, но скоро вновь садится в воду; на земле ему нет места: ноги его прикреплены слишком близко к заду и не позволяют ему свободно ходить; но зато ему удобно плавать. Маленькие, покрытые желтоватым пухом утята ныряют тут же. Ушастая поганка весело выставляет свою головку с красным хохолком из прибрежного тростника. Длинноносый кулик прогуливается по песчаной отмели. Крикун-коропель надрывается от крика в прибрежном кустарнике, быстро перебегая с места на место на своих длинных тонких ногах. А в кочкарнике перепархивают бойкие бекасы. Белокрылые мартышки, перевертываясь, кружатся над водой. Порою белый пеликан, или баба-птица, с мешком у длинного желтого клюва, летит с Волги в Жигули и несет детям воду и рыбу в своем растяжимом мешочке.

В диких лесных долинах Жигулей также немало жильцов. Вот тетерев-глухарь угрюмо сидит на вершине столетнего дуба Тетерев-косач, с красными бровями и косицами в хвосте, с шумом перелетает с места на место. Стая серых куропаток копошится у корней деревьев. Длинношей журавль охорашивается среди широкой лесной поляны. Хитрая красная лисица незаметно скользит между деревьями, поглядывая во все стороны и помахивая своим пушистым хвостом. Порою слышится треск кустарника. Это житель дремучих лесов, наш русский бурый медведь-стервятник, пробирается сквозь чащу кустарника. В грязи камыша слышится злобное хрюканье кабана. А вот и серый заяц, беззащитный житель лесов, поднялся на задние лапки и прислушивается к шуму, насторожив уши и озираясь во все стороны. А вверху надо

всем этим белоголовый орел-беркут, распластав крылья, плавает в воздухе, зорко высматривая добычу.

Этих жителей лесов и камышей редко кто беспокоит в их уединении.

А жигулевские леса! Как величественно и красиво они раскинули свой мрачный покров в горных долинах. Вот группы вековых дубов. Они далеко и широко выкинули свои могучие сучья с длинными темно-зелеными листьями. Вот липы, соткавшие зеленый шатер из густых круглых листьев. Далеко-далеко несетя запах липовых цветов. Они манят отдохнуть под свою густую тень. Вот стройная осина гордо высится своей пирамидальной верхушкой, шелестя листьями на тонких длинных стеблях. А там – стройный клен оспаривает первенство между другими деревьями. Внизу кусты шиповника, волчьих ягод и курушатника, переплелись, перемешались и затрудняют путь. Ближе к берегу группами растут красные ольхи и раскидистые ветлы. Высокий вяз высится среди мелких молодых ив. Хороши жигулевские леса! Здесь, кажется, сама природа зовет к себе людей, которым тесно жить в селах и городах. Действительно, в горах есть пещеры, вырытые как бы рукою человека, но на самом деле – это произведение самой созидающей природы.

На другой, левой, луговой стороне Волги – обширные, малозаселенные степи могут также дать приют бездомному бродяге. По Волге идут купеческие струги. Жигулевским молодцам нет надобности грабить и убивать: хозяева стругов сами отдают добровольно молодцам выкуп с каждого струга.

Но ныне что-то стало меньше вольницы в Жигулевских горах: большая часть ее в прошлом году потянулась на Хвалынское море¹⁶, вслед за батюшкой Степаном Тимофеевичем. Оставшиеся в Жигулях удальцы образовали новые шайки из новых пришельцев; но их все же меньше, чем было прежде.

Вечер. Ветер стих. Тиха и спокойна Волга. Не шумят жигулевские леса и волжские камыши. Не шелохнется трава. Солнце село, оставив за собой багряную полосу вечерней зари, ярко отражавшуюся в тихих, спокойных водах величественной реки. С севера надвигались громадные синие тучи. Они медленно раздвигают свои темные крылья. Деревья, отбрасывая тень, сгущались в темные массы, покрывая темным кружевом растущие под ними цветы и травы. В воздухе проносилась уже струя свежего сырого воздуха; но росы не было, как обыкновенно бывает вечером перед дождем. С противоположного тучам края неба начала показываться луна, обрисовывая на синеве неба громадный огненный полукруг.

В одной из самых диких долин Жигулей, неподалеку от глубокого затона, ярко горел большой костер. Два человека возились около костра, приготовляя ужин. Над костром висел большой котел, из которого клубами валил пар. Около костра лежали разные кухонные принадлежности: сковороды, котелки и прочая утварь. Тут же лежал мешок с крупой, голова быка и окровавленный топор. Три других человека, как видно только что пришедшие из дальнего пути, лежали неподалеку от костра, не принимая участия в стряпне. Около них лежали их узелки и топоры. Вглядевшись пристальнее в их лица, мы в двоих из них узнаем Синицу и Косулю, третий же был татарин, старый жигулевский бродяга, проводивший их в Жигули, в шайку своего атамана Парфена Еремеева.

– А будет ныне гроза, – сказал Синица.

– Да и дождь будет, – отвечал татарин. – Вы, бачка¹⁷, напрасно тут разводишь огонь, – добавил он, обращаясь к кухарям.

– Атаман приказал, – объяснил кухарь.

– А что-то долго атаман замешкался на Волге, – вставил другой кухарь.

¹⁶ *Хвалынское море* – старинное название Каспийского моря.

¹⁷ *Бачка* – сокр.: батюшка, отец.

- Видно, управляется, – отвечал его товарищ.
- А вот она идет, – крикнул зоркий татарин.

Действительно, скоро раздался ясный звук весел, ударявших о водную поверхность. Зашумели камыши, – и к берегу причалили две лодки с еремеевскими молодцами. На носу передней лодки стоял человек средних лет, высокого роста, с рыжей окладистой бородой, в красной рубаше и кафтане, обшитом галунами. К кушаку прицеплена длинная казацкая сабля. Высокая шапка надета набекрень. Он стоял опершись на ружье. Это был сам атаман Еремеев. Рядом с ним стоял седой старик, помощник атамана, есаул, старинный житель Жигулей. Имя его давно забыли и звали просто дедушка Осетр.

- Готов ли ужин? – крикнул атаман поварам.
- Готов, атаман, – отвечали они.
- Это, бачка, как сегодняшней улов? – спросил татарин.
- Как и всегда, получил выкуп, – отвечал атаман. – А ты, Усманка, что делал?
- Видишь, двух согласников привела, – отвечал Усманка.
- Где они?

Синица и Косуля предстали перед атаманом. Он смерил их строгим взглядом и спросил:

- Бывали вы где на удали?
- Нет, окромя своей деревни, почитай, нигде не бывали, – отвечал Косуля.

– Ну, завтра мы вас попробуем на деле, а теперь поднести им по стакану горелки, что взял у купца, и ужинать. Все, что привезли с стругов, убрать в пещеру, – распорядился атаман.

Приехавшие молодцы, числом около двадцати человек, перетаскивали из лодок в пещеру привезенное добро и возвратились ужинать. За ними вышла из пещеры молодая женщина, краснощекая, с длинной светло-русой косой и высокой полной грудью; за нею еще женщина, постарше, одетая также богато. Первая была Дуняша, любовница атамана Еремеева, вторая – Анфиска, любовница Осетра.

– Много, атаман, было ноне народу на стругах? – спросил один из поваров, выпив ковш вина.

– Всего было три струга небольших, на них хозяева, человек десять приказчиков и кормчих да лямотников человек шестьдесят, – отвечал атаман.

- Не дрались?
- Куда драться!

– Послушай, брат, – сказал Синица одному разбойнику после выпивки вина, отчего язык у него развязался, – мне вот что невдомек, как это семьдесят человек не могут справиться с двадцатью, а даром отдают свое добро...

– Ах ты голова! – отвечал разбойник. – Кто семьдесят-то? Одно – это хозяева, приказчики да кормчие, а лямотники-то не в счет. Разве они станут драться, им-то что: добро не их, да и хозяева-то их гонют как лошадей да морят на одном хлебе: за что они будут вступаться-то!

– Когда бы они кормили хорошо своих рабочих, тогда бы те вступились, – сказал Косуля. – Вот, к примеру, теперь я сыт и пьян от своего хозяина, – так разве я дам его в обиду?

- Молодец, – похвалил атаман. – А ты, Усманка, ничего не слыхал о Вакуле?
- Ничего, – отвечал Усманка, пережевывая кусок говядины.
- О Вакуле? Да его при нас схватили в Самаре, – сказал Синица.
- Ну!
- Право. «Слово и дело» закричал кто-то, мы утекли, а его схватили.
- Ну, пропадет Вакула, – сказал один из разбойников.

Атаман задумался.

– Пропасть-то не пропадет, – сказал он, – не такой он парень, чтобы пропасть, а круто ему придется в лапах губного. Надо бы его выручить, да не знаю как.

- Послать разве кого?

– А как посланный-то попадетсЯ?

– У меня в Самаре есть знакомец, – сказал молодой разбойник, черные курчавые волосы которого и тип лица заставляли предполагать в нем иерусалимского дворянина. – Коли бы побольше денег дать, я бы мог его выручить.

– За деньгами дело не станет, – отвечал атаман, – да ведь ты и деньги-то украдешь, и Вакулу-то не выручишь!

Разбойники захохотали. Иерусалимский дворянин замолчал.

– Вот как у нас велось исстари, – сказал старый седой Осетр. – Коли кто послан атаманом или кругом да попадетсЯ, – иди его выручать; а коли кто своей охотой куда пошел да попалсЯ, так вырывайсЯ как знаешь.

– Я не давал Вакуле никакого поручения, он сам за своим делом пошел в Самару, – отвечал атаман.

– Стало быть, и посылать выручку не след, не так ли, детки? – прибавил Осетр, обращаясь ко всему кругу.

– Верно, дедушка, – отвечали разбойники.

– А что-то мало сегодня привезли добра, – заметила Дуняша.

– Ишь, ненасытная, тебе все мало, – засмеялся атаман.

– Знамо мало, – продолжала Дуняшка, – вот кабы на Павловку идти, так там в одну ночь можно бы забрать столько добра, сколько здесь в месяц не наберешь.

– Ишь, ей больно охота Шихобалиху-то придушить, – засмеялся Осетр.

– Поспеем и в Павловку, – сказал атаман, – вот что скажут разведчики: если все тихо, можно на днях и на Павловку грянуть, только после-то уж придется бежать отсюда куда подальше.

– Не знаю, когда мы соберемсЯ в Павловку, – с сердцем сказала Дуняша.

Стал накрапывать дождь и грозился перейти в ливень. Поужинав, разбойники помолились Богу и ушли в пещеру. Пещера была довольно обширна. Вход в нее был из ямы, поросшей густым кустарником и высокой травой. Из этой пещеры, через довольно узкий коридор, был ход в другую пещеру, поменьше первой. В первой помещались на ночь в ненастную пору разбойники; во второй хранилось награбленное добро. И чего тут только не было: и оружие, и церковная утварь, и парчовые поповские ризы, и хламиды еврейские, и шелковые ткани, и дорогие меха, и табак, это зелье сатанинское, употребляемое разбойниками, и мука, и соленая говядина. Не просто живут Еремеев и Осетр с своими молодцами в Жигулевских горах: у них и мушкеты есть, десятка полтора наберетсЯ, а топор и кистень, почитай, у всякого. У кого ничего нет, с пустыми руками придет, тому атаман дает какое-нибудь оружие. Для забавы у жигулевских молодцов есть водка и бабы. Водку они промышляют на стругах, которые идут по Волге вниз по течению на веслах или вверх против течения на лямках бедных бурлаков. Баб промышляют в соседних деревнях и селах охотой и неохотой; но чаще охотой: разгульным женщинам нравится веселая вольная жизнь жигулевских обитателей, и они уходят к ним добровольно. Здесь живет, как мы видели, Дуняша, любовница атамана, бывшая сенная девушка боярыни Шихобаловой, бежавшая от своей боярыни после того, как боярыня высекла ее розгами среди двора, перед глазами всей дворни, на страх прочим санным девушкам и всему холопству. Живет также Анфиска, любовница есаула, бежавшая из одного черносошного села от лихого мужа. Весело живут бабы в Жигулях: пьют водку, поют песни, ничего не делают, только охраняют награбленное добро да рядятсЯ в богатые шелковые и парчовые наряды. Особенно летом им раздолье: тепло и хорошо, – во всякой пещере есть уют. Зимой не так хорошо: надо искать убежища, в лесу холодно; надо идти в хутор или в умет, заплатить деньгами или добром хозяину и жить без дела до весны. Впрочем, некоторые живут в Жигулях и зиму. Пристроют к пещере дверь, устроят печи и живут, зимуют тут; но это не легко, надо

посылать за провизией иногда очень далеко, а как пойдет метель, то и посланный-то заплутается в горах или где-нибудь попадет, а тут сиди без хлеба.

Рано поднялись на другой день разбойники, выпили по чарке водки и стали завтракать по-вчерашнему, на берегу. К завтраку возвратились посланные вверх разведчики и принесли недобрые вести. Атаман тотчас собрал круг.

– Известно стало, – говорил он товарищам, – что собирается рать из Симбирска, которая поплывет вниз и будет искать нашего брата в горах и затонах: нам здесь несдобровать. Ниже Волга еще шире, берега еще пустынее; поплывем туда, а может быть, и доберемся до Хвалынского моря и повстречаем там Степана Тимофеевича: он должен ныне к осени из персидской земли воротиться.

– Как же мы проберемся мимо Самары? – насторожился Синица. – Там, говорят, разъезд ходит.

– Проберемся ночью, правее; да что долго думать, сегодня же в путь, – говорил атаман.

– Сегодня, сегодня! – кричали разбойники. – Не попадаться же в лапы к губному.

– Ну, Дуняшка, сегодня идем, собирайся, – сказал Еремеев, входя в пещеру, где на постели лежала только что проснувшаяся девушка.

– Куда, в Павловку? – радостно вскрикнула она, вскакивая с постели в одной рубашке и хватаясь за свое платье.

– Ну тебя с Павловкой-то, идем к Саратову, а потом к Астрахани.

– А когда же Шихобалиху-то давить? – спросила девушка, опуская руки.

– До Шихобалихи ли твоей теперь, когда из Симбирска сыск идет да Степана Тимофеевича ждут в Астрахань.

Дуняша надула губы.

– Еще хотел Шихобалиху удавить, – говорила она, – а сам бежит; а я-то, дура, поверила и ждала не дождалась этого дня... – Она злобно сверкнула глазами. Но атаман уже не слушал ее и ушел давать последние распоряжения.

– Не отомщу я, видно, своей Шихобалихе, – говорила Дуняша, собираясь и укладывая в тюки свое добро. – А уж как бы хотелось всю бы на кусочки ее разрезать, как она сама меня тиранила. Сколько раз секла, а в последний-то раз и вспомнить страшно, ух! Ну, что мне в этом... – И девушка толкнула тук с нарядами ногой. – Мне не это нужно, – продолжала она, – я и связалась-то с ним затем, чтобы он Шихобалиху удавил. Зимой говорил: все до лета, а вот и лето прошло, а он бежит. Да нет, я не поеду, чего мне делать в Астрахани. Парфен Еремеев, – крикнула она.

– Чего еще тебе надо? – сказал атаман, показываясь у входа.

– Милый мой, – Дуняша бросилась к нему на шею, – заедем в Павловку по дороге, а?

– Дура, чего еще выдумала, буду я для твоей Шихобалихи головы своих молодцов терять.

Тоже деревня не маленькая, не сдадутся сразу.

– Сдадутся, милый, сдадутся все холопы, согласники будут, только поедем!

– Пустяки.

– Ну, так я не поеду с тобой.

– Что? – крикнул атаман. – Ни слова больше: едем, а не то Волга-то близко. – И атаман грозно сверкнул глазами.

Дуняша смолкла.

V

Митяй тем временем приехал домой, в село Артамоновку.

Село Артамоновка была вотчина боярина Сергея Федоровича Артамонова. Вотчина эта была пожалована царем Михаилом Федоровичем отцу боярина за его походы на Литву и на

крымцев. Дед боярина хотя и заседал в думе, но особенно ничем не прославился. Отец же его, боярин Федор Артамонов, служил при дворе Михаила Федоровича и неоднократно бывал в походах, был даже посылаем к польскому королю с приговорами и умер в одном украинском городе, куда был послан на воеводство. Сына своего, Сергея, боярин также представил ко двору; но Сергей Федорович не выслужился до крупных чинов и скоро вышел в отставку, получив, впрочем, чин стольника, о чем похлопотал один из бояр, имевших силу при дворе, приятель и кум его отца. Боярин Федор не заглянул в пожалованную ему на Волге вотчину. Сам Сергей Федорович, по выходе в отставку, приехал жить в новую вотчину, где крестьяне встретили с хлебом и солью своего нового боярина. У боярина была еще родовая вотчина на Украине; но украинская вотчина не могла дать спокойного пристанища: непрерывные войны с Литвой, набеги крымцев и разбой вольницы не давали покоя, потому боярин решил поселиться навсегда на берегах Волги. Конечно, и здесь могли беспокоить боярина жигулевские разбойники; но они не смели нападать на усадьбу боярина, у которого в селе было до двухсот дворов крестьян и много дворни. И благодаря Богу во все двадцать лет проживания боярина в Артамоновке нападений – ни на усадьбу, ни на село – со стороны жигулевской вольницы не было.

Большинство артамоновских крестьян были пожалованы отцу боярина; но были и переведенцы из украинской вотчины. Кроме этого села у боярина была еще небольшая вотчина, верстах в восьми от Артамоновки, известная под названием Артамоновских выселок.

Село раскинулось на возвышенности, с которой видна была Волга, но строители, как видно, мало заботились о прелестных видах, и село, повернувшись задом к Волге, растянулось вдоль небольшой речки. По хозяйственному расчету строителей, оказалось выгоднее устроить село так, а не иначе: ближе было брать воду и поить скот в маленькой речке, чем спускаться к Волге и потом еще идти песчаным берегом, затопляемым полою водой. В селе было две улицы: одна, большая, шла по берегу небольшой речки, другая называлась Волжская, потому что шла параллельно по берегу Волги; но не лицом к красавице реке, а задом. Среди села, на небольшой, поросшей травой площадке, возвышалась церковь. Церковь небольшая, деревянная, выкрашенная желтой охрой, выстроена была боярином Сергеем Федоровичем, человеком религиозным. Но церковь долгое время стояла заперта, так как боярин повздорил с архиереем о попе. Присланный в Артамоновку поп был малограмотный и любил выпить; боярин прогнал его и просил архиерея выслать ему другого; но вновь присланный поп оказался хуже первого. Он читал чуть не по складам, пил водку и вдобавок часто дрался с дьячками и холопами боярина. Раз вечером он разодрался с дворовыми холопами на дворе боярина, недалеко от боярских хором. Поднявшийся крик перепугал боярскую семью. Тогда Сергей Федорович велел привести к себе вздорного попа и, отвесив ему по спине удара три палкой из своих рук, приказал холопам немедля выгнать его из села, что и было тотчас исполнено, несмотря на темную ночь. После того боярин писал архиерею, чтобы он выслал ему попа, «грамотного, который бы книги мог читать как следует, и учить народ слову Божию, и чтобы за ним ни пьянства, ни буянства, ни других художеств не было». На это архиерей отвечал, что на него, столичного московского боярина, не угодишь, и года два не давал попа, почему церковь стояла заперта, а требы исправлял самарский поп, приезжая за тридцать пять верст. Наконец боярин написал просьбу в Москву, и в Артамоновку был прислан новый поп, отец Григорий, бывший прежде певчим в хоре патриарха. Грамоту он знал порядочно и умел даже писать; водку хотя и пивал, но в пьяном виде буйств никаких не делал и, напившись, спал у себя дома. Боярин полюбил отца Григория за его грамотность и скромный нрав, поручил ему учить детей и выстроил для него, неподалеку от церкви, две новые избы.

Хоромы самого боярина стояли поодаль от крестьянских изб; они были окружены избами, в которых жили дворовые люди. Не очень красиво были выстроены хоромы боярина, но за красотой постройки в то время не гнались, повторяя пословицу: «Не красна изба углами,

красна пирогами». И дом боярина вполне оправдывал эту поговорку: и в будни и в праздник приезжий гость находил в них радушный прием и сытное угощение. Дом боярина считался в округе самым большим. Он, как говорится, был неловко скроен, да крепко сшит. Передние ворота были исполинских размеров и по своей тяжести смахивали на крепостные; столбы дубовые, обхвата в два толщину, каждая петля полотен весила по пуду, доски на полотнах ворот были в вершок толщины. Подъезд крыльца также не отличался красотой и симметрией, но он был устроен из толстого соснового леса, привезенного с верховьев Волги. Из соснового же леса были выстроены и самые хоромы. Дом был крыт тесом, чем резко отличался от всех построек двора, крытых соломой.

Внутри дом был устроен и убран на манер столичного. Гость входил в большую переднюю, где постоянно находились человека два или три холопов-прислужников. Из передней большая дверь вела в проходную палату, из которой было трое дверей: одни вели в большую гостиную, или золотую палату. Двери эти были громадных размеров, но они открывались только в особенно торжественных случаях, при приеме гостей, для прислуги же было сделано в этих дверях что-то вроде калитки, через которую и проходили запросто в большую палату. Другая дверь вела в столовую палату, соединенную с большой палатой тоже громадной дверью с подобной же калиткой. Третья дверь вела в деловую избу боярина, где боярин принимал гостей запросто и куда приходили к нему с докладом дворецкий и старосты его вотчин, для которых была устроена небольшая дверь в прихожую, чтобы старосты не марали полов в проходной палате. Дальше был терем боярыни, за ним опочивальня и наконец сени, или девичья, где помещались прислуживающие боярыне сенные девушки. Из этих сеней вела лестница во второй этаж, где были устроены еще две большие комнаты – терем боярышень и девичий терем. В последнем занимались работой сенные девушки, а по праздникам и во время приезда гостей боярышень в этом же тереме устраивались игры.

Большая гостиная палата была убрана с особенной тщательностью: полы устланы коврами, в переднем углу блистали в резных киотах иконы в серебряных ризах. Широкие лавки обиты тюфяками, крытыми кармазинным¹⁸ сукном с золотыми кистями. Стулья с такими же подушками. Резные столы покрыты разноцветными скатертями. Стены палаты были обшиты тесом с резьбой. У потолка шли также резные карнизы. Косяки окон украшены резьбой из орехового дерева. В углу помещалась большая печь, вся из изразца, с яркими узорами. Прочие палаты и терема были убраны также хорошо и в таком же вкусе, но они по отделке далеко уступали большой палате, назначенной исключительно для приема почетных гостей. Сбоку передних сеней была еще пристройка для боярычей, состоящая из двух комнат. Нижний подвальный этаж дома был занят подвалом и кладовыми, в которых хранилось много добра, привезенного с собой из Москвы и Украины и нажитого здесь, в Артамоновке.

Дом двумя сторонами выходил на двор, так что из окон его были видны весь двор и все избы холопов. Третья сторона выходила на площадь села: и церковь, и село, и дом попа были как на ладони. Четвертая сторона выходила в сад или, вернее, в огород. В этой стороне был пристрой для боярычей. Прямо перед окнами был устроен маленький цветник, дальше шли огородные овощи. По краям огорода росли кусты акаций и яблони, между которыми были посажены крыжовник и малина. Дальше к берегу Волги шли уже дикорастущие вековые деревья и образовывали небольшую рощу. Эта сторона дома и была опасна в случае нападения жигулевских разбойников; но боярин принял меры, и три дворовых холопа, вооруженные мушкетерами, каждую ночь охраняли дом; кроме того, все окна дома запирались на ночь ставнями с железными болтами; в него трудно было попасть.

Боярин Сергей Федорович был человек лет около шестидесяти, с большой седой бородой, с большой лысиной и остатками седых волос на голове. Он был высок и худощав, держался

¹⁸ Кармазинный – ярко-алого, багряного цвета.

прямо и бодро; взгляд имел сердитый и надменный. Он очень гордился своей придворной службой и званием стольника и в разговорах с кем-нибудь не забывал упомянуть об этом. «А вот в бытность мою при дворе...» – начинал он рассказ о своей прежней жизни. Боярин любил также хвалиться своим знакомством с тогдашними сановниками и в разговорах о них упоминал, что он служил вместе с ними.

Все местные власти, от подьячего до губного и воеводы, уважали боярина Сергея Федоровича, но сам он уважал только одного воеводу, а прочих чинов, в том числе и губного старосту, принимал запросто в своей деловой палате, где принимал и отца Григория. Только по большим праздникам отец Григорий входил в большую гостиную палату, вытерев предварительно в передней ноги, чтобы не замарать ковров, и выбив щеткой рясу, чтобы не запылить дорогих покровов на скамьях и стульях. По праздникам же и губной и даже дьяк воеводы принимались в большой палате.

Сергей Федорович сам заведовал своим хозяйством. Он нашел удобным половину вотчины оставить на работе, барщине, а другую половину, именно Волжскую улицу и Артамоновские выселки, посадить на оброк, так что имел всегда и рабочие руки и верный доход в случае неурожая или низких цен на хлеб.

Митяй был старостой оброчных крестьян Волжской улицы. Боярин любил Митяя за его исполнительность. В свою очередь, Митяй, живя на оброке и не имея частых столкновений с боярином, любил своего господина и отзывался о нем так: «Наш боярин крутенок, и когда сердит, то уж лучше молчи или в ноги падай, известно, большой именитый боярин; но напрасно не обидит сам и другому тебя в обиду не даст. А коли нужда какая придет, поможет». Так отзывались о боярине и другие крестьяне его вотчин.

Поручая надзор за работами старостам из крестьян и дворовых людей, боярин не держал управителя и хозяйством распорядился сам: каждый вечер выслушивал доклады старост и отдавал им свои приказания. Характер у боярина был вспыльчивый. Когда боярин был в духе, то благосклонно выслушивал доклады старост и, не торопясь, отдавал приказания, но когда был рассержен, то часто прогонял их с глаз, топая ногами. Впрочем, такие минуты находили на него редко, вследствие какого-нибудь потрясения или неудачи. И в эти минуты в доме боярина все ходило, как говорится, на цыпочках. Но Сергей Федорович громил больше криком и топанием, драться он не любил, и уж разве когда был очень рассержен и виновный попался ему прямо на глаза, то награждал его двумя-тремя ударами палки, а если палки не было под рукой, то кулаком давал виновному так называемую зуботычину или тумака. Розгами он наказывал редко, только за большую вину, и в таком случае поручал производить наказание старосте или дворецкому, под наблюдением своего старого слуги Никиты, который прислуживал самому боярину и всегда находился при его особе.

Дворня боярина жила в изобилии, ни в чем не нуждалась, особенно люди, служившие в самых хоромах боярина; в пище и одежде не было недостатка. Провинившихся холопов боярин посылал как бы в ссылку в Самару к кому-нибудь из чиновников в услужение, на исправление, как выражался он и как выражались сами холопы. Были и такие случаи, что боярин провинившегося дворового холопа в виде наказания отпускал на волю. Эта мера применялась только к заслуженным и пользовавшимся прежде расположением боярина холопам, которые попадали за что-нибудь в немилость к боярину. Холопы считали это наказанием, плакали и валялись в ногах, прося простить их и оставить при себе. Да и что было им делать: к полевой работе они не были приучены и не могли на воле вести своего хозяйства и самостоятельной жизни; оставалось вновь идти к кому-нибудь в батраки, а пробатрачив полгода у одного хозяина, вольноотпущенный становился вновь крепостным холопом. Крестьянами распорядились поставленные боярином старосты, и сам он редко входил в разбор крестьянских дел. Старосты расправлялись сами и, не доводя до боярина, давали щедро зуботычины и палочные удары; но розгами наказывали не иначе как с разрешения и по приказу боярина.

Жена Сергея Федоровича, боярыня Прасковья Павловна, была настоящая русская боярыня: белая, дородная, среднего роста, лет пятидесяти. Надменная и сердитая. Она была дочь именитого боярина. В детстве жила в деревне, потом в Москве, где и вышла замуж. Года четыре после замужества жила в Москве, а потом переехала в деревню, сперва на Украину, а потом на Волгу, в Артамоновку. Она редко выезжала из дома и даже редко выходила, возясь день-деньской с вышиваньем, вязаньем и наблюдая за своими мастерицами, санными девушками, постоянный надзор над которыми был поручен старой вдове Агашке, или Агапке, крепостной холопке самой боярыни, пришедшей за ней в приданое от ее отца; ей же было поручено наблюдение над нравственностью санных девушек. Боярыня чаще своего супруга была не в духе, и в это время особенно круто приходилось бывшим в ее непосредственном распоряжении санным девушкам; даже любимице Агапке доставалось в эти минуты. В это время боярыня часто награждала санных девушек оплеухами и кулаками и, как женщина изнеженная и нервная, долго после того ходила по комнате, отмахиваясь руками и жалуясь на боль в кулаках, причиненную ей скверной рожей холопки.

Боярыня была очень религиозна и каждое воскресенье ходила в церковь к заутрене и обедне и часто беседовала с отцом Григорием, человеком начитанным по-своему и знавшим наизусть несколько текстов Священного Писания, которыми он и подкрашивал свои речи в разговорах с боярыней, что боярыне очень нравилось. Боярыня была добра в отношении своей прислуги, но добра относительно: она любила хорошо одевать своих санных девушек, и санные боярыни Артамоновой были всегда одеты лучше всех других санных Самарского округа. Как женщина религиозная и строгих правил, она неусыпно старалась, чтобы ее санные вели себя достойно и были бы богомольны и старательны в деле. За всякий непристойный поступок, а в то время считалось безнравственным даже поговорить наедине с молодым холопом, виновную ждало наказание.

Случалось, хотя не часто, что какая-нибудь санная девушка, несмотря на строгие правила боярыни, поведет себя «нехорошо» и начнет полнеть в талии. Тогда боярыня страшно сердилась на виновницу и на смотрительницу Агапку. Агапке доставалось несколько пощечин, а виновную секли розгами на конюшне, обрезали ей косу и отправляли в деревню к родне. При этом боярыня старалась также узнать и имя виновника, и если узнавала, то и на его долю доставалось от боярыни. Такой проступок считался самым важным преступлением в сенях боярыни. Строго наказывали также за кражу или неисполнение приказа. Наказывали, хотя не так строго, за непонятие в рукоделье. Других преступлений почти не было: о грубости или неповиновении не было и помину. Да можно ли было не послушаться или нагрубить такой важной, строгой боярыне! Отдавать в замужество своих санных боярыня не любила и отдавала довольно редко. Конечно, при этом сама назначала по своему выбору жениха, по общему совету с боярином.

Наблюдением за женской прислугой и главными приказаниями по части огорода, соленья, варенья и деланья меду ограничивалась ее деятельность по хозяйству. Не более обширная деятельность была и по воспитанию детей. Она наблюдала, чтобы дети были сытно накормлены и одежды было бы у них вдоволь. За нравственностью детей она также следила и поручила отцу Григорию выучить их молитвам, толковала им, что нужно оказывать почтение старшим, и строго блюла, чтобы глаза постороннего мужчины не видали боярышни.

Старший сын боярыни, боярич Александр, служил в Москве и участвовал в последней кампании против Литвы, где был больше посылаем от начальства по письменной части, так как он хорошо знал грамоту, потому что обучался в Заиконо-спасском училище, лучшем в то время учебном заведении, и, после обучения, для науки, послан был на два года в немецкую и итальянскую земли. Во время заключения Андрусовского договора, он состоял дьяком при посольстве, за что заслужил чин драгунского подполковника и милостивое слово царя. Он

недавно прислал в Артамоновку письмо, которым уведомлял, что взял отпуск и скоро будет домой; приезда боярича ждали с часу на час.

Второму сыну, Степану, шел двадцатый год. Он нигде еще не служил. Грамоту хотя и знал, но плохо (учил его отец Григорий), и прошел азбуку Бурцева, Псалтырь и мог кое-как писать. Боярин хотел было для Степы взять учителя из Заиконо-спасской школы, но боярыня восстала против этого. Старший брат писал, чтобы прислали Степу в Москву, записать на службу, и боярин был не прочь, но боярыня сказала, что последнего сына у ней и сам царь не отнимет и его она ни за что не отдаст. Боярин покричал, а потом махнул рукой. Так и жил Степа дома и ничем не занимался, кроме охоты да ухаживанья, втихомолку от боярыни, за санными девушками.

Старшая боярышня, Ольга, была восемнадцати лет. Она была очень красива, бела и румяна, с длинной черной косой и походила на мать и лицом и нравом. Она также знала немного грамоту: училась у отца Григория. Жила уединенно в своем тереме с младшей сестрой, мамушкой Михеевной и санными девушками. Редко, только по большим праздникам, она выезжала с боярыней к соседям, где были ровесницы-подружки, а иногда в Артамоновку собирались соседние самарские боярыни с дочерьми, и тогда оживал девичий терем: песни и игры в нем не умолкали. Из мужчин она встречалась только с своим отцом, братом, прислужниками, холопами и отцом Григорием.

Младшая боярышня, Надя, была милый ребенок, тринадцати лет, со светло-русыми кудрями. Она недавно еще начала узнавать грамоту. Сама же боярыня Прасковья Павловна, хотя когда-то в молодости училась, но теперь все забыла, «да и не к чему», говорила она, «и без грамоты прожила век благополучно».

Из соседей в Артамоновке бывали: вдова боярыня Шихобалова, у которой была дочь ровесница и подруга Ольги. Дворянин Гаврила Гаврилович Каменев с семейством. Самарский воевода Алфимов и губной староста с семействами также заезжали в Артамоновку, хотя не очень часто. Из соседних мелких дворян бывали у боярина Андрей Степанович Липин, однодворец¹⁹, кум боярина, и приехавший года два тому назад из Москвы боярский сын Арсений Михайлович Кузьмин. Других соседей почти и не было: край недавно был заселен. Ближайший сосед боярина, князь Бухран-Туруков, бывший товарищ старшего боярина по службе и товарищ его по детству, давно уже не бывал в Артамоновке – боярин не любил князя за его выходки, хотя никакой формальной ссоры между ними не было.

VI

В деловой избе боярина Сергея Федоровича горел уже огонь. Восковая свеча домашнего приготовления, мигая, освещает большую избу, обставленную столами и скамьями, и ярко отражается в стеклах резных киотов, стоящих на полках в переднем углу избы. На одном из столов стоит стопа меду и закуска, которая никогда не сходит со стола на случай прихода или приезда гостя: боярин любит гостеприимство и знает, что первое дело после дороги – выпить и закусить. На боярине шелковый летний кафтан, уже с потертыми несколько рукавами, и красные сапожки. На голове небольшая меховая шапочка-тафья²⁰, которую боярин носит всегда даже в комнате, чтобы мухи не беспокоили его голову, лишенную волос. Сергей Федорович ходит по деловой избе и слушает доклад старосты полевых работ Семена Шишиги. Шишига, старик лет пятидесяти, стоит, вытянувшись в струнку, у дверей и докладывает о плохих всходах ярового хлеба.

¹⁹ *Однодворец* – государственный крестьянин, происходивший из низшего разряда служилых людей.

²⁰ *Тафья* – шапочка, род скуфьи.

– Отчего же плохо? Семена украли, недосмотрел, бестия? – грозно вопрошал боярин, остановясь перед старостой.

– Никак нет, боярин, как перед Богом не виноваты, – отвечал Шишига, – ноне везде плохи хлеба, хоть у кого изволь спросить. Вон у князя, уж на что были прежде хлеба, а ноне и у него плохи.

– Мне князь не указ, – с сердцем отвечал боярин, – он выкрест²¹ и, почитай, не христианин, ему бы только охота да лошади да еще... – Боярин прервал речь и продолжал: – А я не таков, я везде и во всем люблю порядок. Так ты не суй мне своим князем.

– Как угодно твоей милости.

– А вот завтра молебствие сделать по всем полям, и если я завтра увижу, что крестьянские хлеба лучше моих, тогда берегись. А Митяй здесь?

– Он давно ждет на крыльце.

– Ступай с глаз моих и позови его.

По случаю доклада о плохих всходах боярин был не в духе. Вошел известный нам Митяй и, отвесив низкий поклон боярину, стал у дверей.

– Оброк принес?

– Принес, боярин, половину, другую не собрал, немного обожди.

– Как! Я велел весь! – в сердцах крикнул боярин.

– Да все, вишь, не в собрание, половину-то я принес. – И Митяй вытащил из-за пазухи кафтана узелок и подал боярину.

– Негодяй, – крикнул боярин, – на что ты поставлен, какой ты староста, когда третью неделю не можешь собрать оброка! Я тебя сменю и велю наказать.

– Прости, кормилец, через неделю все сполна доставим. – И Митяй повалился в ноги.

– Подай узел сюда, а через неделю чтобы все было готово. Слышишь? Вставай! – И боярин ткнул Митяя ногой.

– Спасибо, кормилец, как не слышать, – бормотал Митяй, вставая.

– А то береги свою шкуру, коли недоимщиков будешь беречь.

– Вестимо, так.

Боярин сел к столу, пересчитал серебряные и медные монеты и сказал:

– Тут не все.

– За тех, боярин, кои в бегах, – нетути, за три семьи.

– Ага! А кто им велел бегать? Именье есть – продай, а нет – пусть миром заплатят: зачем не смотрели. Пошел!

Митяй вышел. «Вот добрый боярин, – говорил он сам с собой, – хоть покричал, поругал, а сроку все же дал. Однако, – продолжал он, подходя к воротам, – недоимку-то надо крепко выбивать через неделю, а то он, пожалуй, меня того...»

В деловую избу боярина вошел дворецкий Федор и поклонился боярину.

– Ну, что у тебя?

– Да Андрей Степаныч приехал, просил, не примешь ли его, боярин, ему до тебя дело есть.

– Ну, ладно, пусть придет, а еще что?

– Еще в табуне неблагополучно, боярин, – отвечал дворецкий, почесав за ухом.

– Что?

– Да пара коней пропала, подпаски-то сейчас на дворе воют, а пастух-то Сидор утек.

– Куда?

– Неведомо, с обеда, говорят, утек; подпаски сказывали, как на водопое хватился, что нет коней, так и утек.

²¹ *Выкрест* – лицо, принадлежавшее по рождению к другой вере, но крестившееся в православие.

– Розыск послал?

– Нет, как твоя милость велит.

– Вот что велит моя милость, – сказал боярин, ткнув в зубы дворецкому, – действуй, лови, ищи, а не беспокой из-за всякой малости, из-за всякого Сидора.

Дворецкий мгновенно исчез.

– Ну, уж денек сегодня вышел! Неприятность за неприятностью, – сказал боярин, садясь на лавку. – Вот и этот куманек-то, Липин, чай, пришел клянчить чего-нибудь, – молвил боярин сам себе.

Вошел человек небольшого роста, средних лет, с сильно загорелым лицом. С первого раза трудно было определить, кто это: барин или мужик. Одежда была небогатая, но чистая; кафтан и ферязь походили на боярские, а на ногах были большие крестьянские сапоги. Большая русая борода была расчесана, и волосы приглажены на голове, но грубые заскорузлые руки показывали, что ему знакомы черные полевые работы. Это был бедный дворянин Липин, близкий сосед боярина. Он назывался однодворцем, потому что у него был один только двор – его собственный, в котором жил он со своей семьей и несколькими дворовыми холопами. Он низко поклонился боярину и стал, отойдя несколько шагов от дверей.

– А, Андрей Степаныч, давненько тебя не видать, – сказал важным покровительственным голосом боярин, едва кивнув головой на поклон Липина. – Садись, братец, – добавил он, указывая на лавку против себя.

Липин нерешительно подошел к лавке и сел на нее.

– Все дела по хозяйству, – отвечал он, – ведь я сам, боярин, с холопами заодно работаю.

– Как быть-то, Андрей Степаныч, не всем старцам в игумнах быть, надо кому-нибудь и строителем пожить, – ласково сказал боярин. – Ну что, как поживаете, что старуха твоя? Что моя крестница?

– Покорно благодарю за память, боярин, старуха моя и твоя крестница, Маша, прислали низкий поклон тебе, боярин.

– Свадьба скоро у вас?

– Хотели было поскорее, да в мае-то свадьбу играть не доводится, так отложили: после Петрова дня, видно, будет.

– Что, Маша-то, чай, приданое готовит?

– Собираются кой-как со старухой.

– А ведь жених-то молодец у крестницы-то.

– Нечего Бога гневить, недурен, одно не хорошо: тяжба, говорят, у него. Как бы чего не было! Спрашивал я у него: ничего, говорит, не будет; именье, говорит, мое, а не Сомова.

– Ничего, Андрей Степаныч, барыней заживет Маша.

– А я к твоей милости, боярин, за делом, – засуетился Липин, вставая.

– Дело делом, а прежде, по русскому обычаю, выпей и закуси. – И боярин наполнил кубок медом.

Липин нерешительно подошел к столу, взял кубок, перекрестился на иконы и сказал:

– Сто лет жить и здравствовать тебе, боярин, и твоему семейству. – Выпив кубок, Липин вновь поклонился.

– Ну, теперь потолкуем о деле, – сказал боярин, садясь вновь на лавку.

– Да вот что, боярин, как говорится, стыдно сказать, да грех утаить, я не то что в обиду твоей милости что сказать, а милости твоей пришел просить. Ишь, какое дельце-то вышло: пастухи твои не знай проспали, не знай проиграли да и потравили у меня два загона овса. Как есть в лоск положили, – грустно заключил Липин.

– Да ведь хлеб-от плох, чай, был?

– Оно, конечно, плох, да все же твоей милости доложить надо.

– Разумеется, – важно сказал боярин. Потом, взяв палочку, ударил ею по серебряной дощечке.

– Позвать дворецкого, – сказал боярин вошедшему слуге.

Через три минуты является дворецкий.

– Пастуха Еремку и подпасков завтра же поутру наказать, а Андрею Степановичу отпустить пятьдесят мер овса из семенного и завтра же отправить к нему на хутор.

– Спасибо, боярин, – чуть не крикнул Липин, вскакивая с лавки. – Дай Бог тебе добра и всякого благополучия. Прости, что обеспокоил твою милость.

– Всякому своего жаль, – отвечал боярин, – я не даю потачки озорникам и в обиду никого не дам. Ну, до свидания. Если случится какое дело или просьба – заходи.

– Много доволен, боярин, твоей милостью, – сказал Липин и, отвесив низкий поклон, вышел из избы.

По уходе Липина боярин прошелся раза три по комнате и пошел в столовую избу, где его ждали ужинать.

В столовой избе, большой, просторной комнате с тремя стрельчатыми окнами, был уже приготовлен стол на пять приборов. За столом сидели и ждали боярина сама боярыня и обе боярышни. В переднем углу было приготовлено кресло для боярина, а рядом, на таком же кресле, сидела боярыня. На боярыне был шелковый, почти новый сарафан и парчовая душегрейка, опушенная мехом. За ее креслом стояли две сенные девушки. Боярышни, Ольга и Надя, сидели по другую сторону стола. На них были шелковые сарафаны и белые рукава. Черные волосы Ольги были заплетены в толстую косу, украшенную алой лентой; на лбу была надета шелковая перевязь, унизанная жемчугом, а на шее два разноцветных борка. Белокурые волосы Нади лежали кольцами по плечам: она не заплетала еще косы. За каждой боярышней стояла сенная девушка. Сенные, по случаю буден, были в клетчатых сарафанах и белых рукавах из тонкого льняного домашнего холста. Недалеко от стола стоял большой шкаф, на полках которого красовались различные кубки, стопы, ковши, блюда и мисы.

Боярин начал молиться; его примеру последовала и вся семья. Помолясь, боярин сел на свое место и, окинув взглядом всех присутствующих, спросил:

– А Степан где?

– Где он! – торопливо отвечала боярыня. – Голубей ушел ловить, думал, ты долго там пробудешь с Андреем Степановичем и замешкался с забавой-то, потому ребенок еще.

Боярин поморщился.

– Он знает, что я не люблю этого, – громко сказал он.

– Ну, пусть останется без ужина за свое баловство, – сказала тихо боярыня.

– Ну, денек! Все непорядки, – сквозь зубы процедил боярин. – Набалуешь ты его, Прасковья, – добавил он, обращаясь к боярыне.

Боярыня заметила, что боярин не в духе: потупилась и замолчала. Начали ужинать. После первой перемены вошел Степан и, бросив взгляд на мать, а потом на отца, который не удостоил его даже взглядом, понял, с которой стороны ветер, и робко сел на свое место за столом. Все чинно ужинали. Холопы проворно и молча переменяли кушанья. Подали третью перемену; вдруг в столовую палату впопыхах вбежал холоп Данилка и крикнул:

– Боярич Александр Сергеевич приехал.

Все повскакали из-за стола и бросились навстречу бояричу. В дверях стоял молодой человек лет тридцати, высокий, белокурый, с кроткими умными глазами, длинными усами и небольшой бородой. Боярич не был дома, в Артамоновке, более пяти лет: понятно, с каким восторгом вся семья обнимала приезжего. Боярыня и боярышни плакали от радости. Степа рад был приезду брата еще и потому, что, по случаю этого приезда, отец забыл о том, что он не поспел вовремя к ужину, и уши его остались не выдраны сильною рукою боярина. Вся дворня сбежалась хотя бы в дверь взглянуть на молодого боярича. По двору носился крик:

– Боярич приехал, боярич приехал.

Все были веселы. Боярин позабыл о вечерних неприятностях. Прерванный ужин начался снова.

Александр рассказывал о новостях Москвы, передавал боярину поклоны московских бояр, которые не забыли еще своего старого товарища, Сергея Федоровича. По случаю приезда боярича семейство боярина просидело дольше положенного часа, и когда разошлись спать, то пробило уже двенадцать часов – час, до которого в хоромы боярина никогда не сживали, ни летом, ни зимой.

Приезшему бояричу отвели два боковых покоя, которые прежде занимал Степан. Последнего хотели перевести в большие хоромы, но Александр просил его не тревожить, и братья остались вместе. Они поместились в большой горнице, а в другой комнате, служащей вместо прихожей, поместился дядька Степана, старик Яков, и любимый слуга Александра, Иван, одних с ним лет, бывший с ним неотлучно на службе.

Когда Александр и Степа остались одни в комнате, то погасили свечу и сели рядом. Степа ласкался к брату, и разговорам их не было конца.

– А что, учишься ли ты? – спросил Александр.

– Как же, братец, я уж выучился всему у отца Григория, – отвечал Степа.

– Чему же ты выучился?

– Азбуку Бурцева выучил, всю как есть. Евангелие читал, Священную историю учил. Всякую книгу могу читать и писать учился: батюшка из Москвы прописи достал.

– А знаешь ты, где город Варшава?

– Этого, братец, я не учил, это, видно, не наш, не православный город, наши-то города я знаю: Казань, Саратов, Симбирск, Царицын, Астрахань, откуда струги²² по Волге идут, а дальше Москва, где ты, братец, служил.

– Ну а дальше-то что?

Степа расставил руки.

– Дальше, – сказал он, – должно быть, Украина, откуда батюшка сюда переехал.

– А дальше, за Украиной что?

– Дальше-то? А я почему знаю, братец, я там не был, дальше, чай, неверные живут.

– Эх, брат, нужно бы тебя в Заиконоспасское училище отдать, лучше бы было: тогда бы ты больше научился, чем у отца Григория.

– Что ты, братец, меня матушка не пустит, ведь я один остался.

– Ну, сюда бы учителя взять.

– Как можно, братец, в свои хоромы взять чужого человека, – у нас сестры.

– А сестер-то съест, что ли, учитель-то; нет, посмотрели бы вы, как в других землях люди живут, у них не так.

– Да ведь там, братец, неверные, известно, у них другие порядки.

Александр засмеялся:

– Ну а скажи-ка мне, верный человек, с кем ты здесь занимаешься? С кем дружишь?

– Как с кем, мало ли у нас холопов, молодые ребята есть; вот Данилка, Витька, Васька – я с ними верхом ездю и охочусь. Сенные девушки тоже есть, с ними играю, только это, чур, тихонько от батюшки и матушки.

– А из соседей-то есть кто-нибудь? Ведь почти всех позабыл.

– Как же, братец, есть: вот Каменевы, сын воеводы Яша; Арсений Михайлович Кузьмин, этот из небогатых; Липин – тоже из небогатых, да еще князь Дмитрий Юрьевич.

– Ах да, князь Бухран-Туруков, мой бывший товарищ. Ну что, каков он нынче?

²² Струг – крупное речное судно, гребное или парусное.

– Хороший такой, братец; роду знатного, веселый; у него весело, много лошадей, а сенные девушки какие хорошие! Только батюшка его не любит, сам не ездит и меня не пускает в Бухрановку.

– А больше-то никого нет?

– Как же нет! Вот боярыня Шихобалова с дочерью приезжает, из Самары гости тоже бывают. Вот бы, братец, тебе невеста-то!

– Кто, гости-то, что ли?

– Нет, боярышня-то Шихобалова: она богатая и роду знатного.

– Эх вы, мясники, только и слышишь от вас «знатный род да знатный род», а ты, чай, сам-то боярышню Шихобалову только сквозь покрывало видал?

– Известно, братец, теперь она большая, без покрывала разве будет ходить; известно, под покрывалом. Ну а прежде-то, когда маленькие были, играли вместе, ведь мы одних лет, почитай, вместе росли.

– Ну, ладно, придет время, всех увижу, а теперь спать пора.

Помолчав, Степа вновь спросил брата:

– А ты, братец, надолго к нам?

– Поживу, доколе царь не позовет на службу.

Боярин и боярыня, отправившись в опочивальню, также долго разговаривали о сыне.

– Вот, Прасковья, – говорил боярин, – ты все не чаяла видеть сына, а он приехал к нам; вот какая теперь радость. Вот и Степка эдак выслужился бы да приехал. Отпустим-ка его в Москву, чем ему шилоберничать-то?

– Нет, боярин, Христа ради не тревожь его: он еще молод, куда ему в Москву, – отвечала боярыня. – К тому же он один у меня, как порох в глазу. Сашка-то, ты думаешь, надолго приехал, он опять удерет. Девки непрочный товар: один Степка мне остается.

– Да пойми же ты, ведь он воротится и будет жить опять с тобой.

– Нет, нет, я не спорила с тобой о Сашке, когда ты его в науку отдавал, ни слова не говорила, – не разбивай ты остатки моего материнского сердца, не отнимай у меня последнего сына! – умоляла боярыня.

– Ну, видно, с тобой не сговоришься, спать уж, видно, лучше, – сказал боярин.

Боярыня ударила палочкой в серебряную дощечку. Это изобретение Запада начало прививаться и в России. Боярич Александр прислал две такие дощечки отцу и матери, и они им понравились. На зов вошла сенная девушка, которая сидела в соседней горнице, на случай если позовет боярыня.

Девушка задула стоящую на столе около кровати свечу и ушла из комнаты; но боярыня долго еще не спала.

– Вот что, Сергей Федорыч, – сказала она, – надо бы женить Сашку, он бы охотнее дома стал жить.

– Что ж, я бы тоже не прочь, только по его желанию, а принуждать я его не хочу.

– Что ж, стало, он из воли родительской вышел? – возмутилась боярыня. – Хоть и учился он в чужих краях, а из воли родительской выходить не должен. На ком женить – отец с матерью лучше знают; ты много воли ему даешь, Сергей Федорович.

– Все не то ты толкуешь, Прасковья, – отвечал боярин. – Конечно, воля родителей, и я тоже говорю, и делаю так. Не буду я спрашивать дочерей, хотят или не хотят они идти за жениха, какой будет сватать – это дело наше; не буду спрашивать и Степана: оттого что они еще молоды, глупы, и мы опытнее их; но Александр – другое дело, он не ребенок и сам учился больше моего и, надо правду сказать, поумнее нас с тобой, и нам неволить его не приходится.

– Ну, так Степку женим?

– Молод еще.

– Видно, мне не видать и внучков, – жаловалась боярыня. – Чего еще надо: и большак приехал, любого сына жени, а ты не хочешь: один молод, другой стар. А и невесту-то не искать. Вот боярыни Шихобаловой дочь, одна дочь и рядной записи хоть не пиши: все ее будет и рода знатного!

– Перестань, Прасковья, – сказал боярин, и боярыня умолкла.

Вся Артамоновка погрузилась в крепкий сон. По случаю позднего успокоения все проспало поутру обычный час, даже холопы проспало лишний час, потому что боярин весел и, стало, браниться не станет.

Поутру служащий в доме Артамонова холоп Данилка, родной брат приезжего холопа боярича, Ивана, сидел с ним на крыльце боярских хором и разговаривал о бояриче и о дальних сторонах, из которых возвратился Иван.

– Наш боярич, – говорил Иван, – все такой же смиренный, еще даже лучше стал, словом тебя не обидит, разве только дураком назовет да пристыдит тебя. А умный какой – страсть, все знает, и по-польскому и по-немецкому. А дорогой-то едет, все замечает да в книжку записывает – слышь, боярину Матвееву эту книжку-то послать хочет. Ну и к церкви Божьей прилежание имеет. Не знай, в кого он такой уродился. Ну а меньшей-то боярич, каков стал?

– И, беда. Так-то ничего, кажись, добрый, только бранится и дерется страсть: в боярыню пошел. Ну, коли угодишь ему чем насчет сенных или другого чего прочего потрафишь – скажет так ласково и подарок даст, а не потрафишь ему – всю рожу своими руками изобьет. Чего сделаешь? – жаловаться боязно.

– Ну а старый-то боярин все такой же?

– Все так же, больше криком берет. Нет, у нас еще жить можно, а вот у князя – страсть.

– Што, плохо?

– Оно так-то, пожалуй, лучше нашего: водки пей, что хочешь, и обряжает хорошо; только уж берегись. Хуже всего, что часто так, зря, без дела бьет. И больно бьет: кошками²³ сечет. Сегодня наградил, а завтра все отнимет. Жен отнимает от мужей: молчат, а то заперит...

– Ну, теперь достанется сенным, – с пошлой улыбкой добавил Данилка, – допрежь один боярич был, а теперь двое.

– И, нет, брат, – отвечал Иван, – прежде-то он смолodu смирен на эти дела был, а теперь, вот года три будет, и смотреть не хочет, а какие красавицы были на Украине.

– Что же это?

– Бог ведает, а мне невдомек, только вот третий год пошел, как произошла в нем перемена большая. Он и прежде смирен был, но все же ину пору развеселится, а теперь ходит грустный такой, индо жаль его.

– Разве хворает?

– Нет, здоров, только грустит о чем-то. Ничего не говорит. Наше дело холопское, разве скажет, чего у него на сердце.

– Ну а у вас чего нового на Волге? – спросил Иван брата.

– Мало ли чего! В Жигулях неспокойно, всё разбойники; да еще в запрошлом году Стенька какой-то Яик взял да воеводу тамошнего повесил. Тут пошла передрыга, рать хотели собирать, да, слышь, Стенька-то ушел в Хвалынское море.

– Ну, я об этом еще не слышал хорошенько-то, – сказал Иван. – Вон оно что – воеводу повесил... – повторил он вполголоса.

– После того, – продолжал Данилка, – пошел в народе нехороший слух: слышь, Стенька рать набирает, бояр всех порешить хочет и волю всем даст. Наших человека четыре из крестьян бежали. У князя из дворни кой-кто утек. У боярыни Шихобалихи тоже много бежали. Ее сенная Дуняшка, вот близко год будет, как убежала, и отыскать не могут.

²³ Кошки – кисть веревок, концы.

- Дуняшка, это та, с которой она все ездила, вострая такая девчонка?
- Она самая.
- А наши-то дворовые, чай, не побегут, – убежденно сказал Иван.
- Куда! У князя-то да у Шихобалихи накладно жить-то; ну а у нас-то обиды нет. И крестьяне-то бежали больше от оброка.

VII

После сытного завтрака, из только что наловленной речной рыбы (день был постный, а посты в Артамоновке строго соблюдались), Степа утащил брата в конюшню, показал ему жеребцов: и Сокола, и Кречета, и Серяка, и Гнедка, одним словом, всех бывших в конюшне лошадей, объясняя качества каждой из них; а после осмотра добавил с грустью, что у них нет таких лошадей, как у князя Бухран-Турукова. Позже Александр постоял несколько минут перед рядами яблонь и акаций: он помнил их кустиками, некоторые он сажал в детстве, а теперь они разрослись и стали деревьями. Из огорода перешли в рощу и вышли на берег Волги.

Александр засмотрелся на чудную красавицу Волгу, на ее громадное водное пространство, на ее поросшие травой и камышами берега, на высоченные осокори и ивы, осеняющие ее берега, и на синеющие на другом берегу Жигули. Все это было ему когда-то хорошо знакомо. Вспомнил Александр то время, когда он еще ребенком гулял тут и катался в лодке с отцом и дядькой. Воспоминания минувших дней нашего детства всегда дороги сердцу: они наводят на нас какую-то тихую радость и в то же время какую-то непонятную грусть об утраченных навсегда счастливых, беспечных, тихих и беззаботных днях.

Долго и пристально глядел Александр на величественную Волгу. «И я был когда-то счастлив здесь, – думал он, – жизнь моя не была тогда еще разбита, и я был спокоен и доволен. Авось успокоюсь я и теперь, при виде любимых картин природы и вспоминая давно минувшие счастливые дни». Неподалеку от места, где стояли Александр и Степа, за кустами раздались веселые голоса и плеск воды; но Александр не замечал этого; он был погружен в свои думы и в созерцание величественных красот природы: он был художник и поэт в душе; но Степа был более прозаичен и потому, насторожив уши, пристально посматривал в ту сторону, откуда раздавались голоса.

- Хороша ты, Волга, – сказал наконец Александр.
- Не знаю, братец, что ты находишь в ней хорошего – речка как речка, – отвечал Степа.
- Не речка, а река, лучшая в мире река, – с увлечением продолжал Александр. – Я ездил и по России, и по чужим землям, видел и Дунай и Вислу, а такой реки, как наша Волга, нигде не видал, да и вряд ли найдешь где такую красавицу реку.
- Нет, вот что хорошо, братец: там, за кустами, девки купаются; пойдем, братец, туда, – просил Степа.
- Зачем их тревожить, посидим лучше здесь, и здесь хорошо, – отвечал Александр.
- Вот ты какой, братец, – не то с упреком, не то с сожалением сказал Степа. – Нет, я всегда так делаю, подкрадусь к ним из-за кустов да вдруг и выскочу: они испугаются, побегут, я за ними, смеху-то сколько, весело, а ты говоришь – не надо.
- А тебе хочется?
- Еще бы! Пойдем, братец!
- Пожалуй, пойдем, раз тебе так хочется.

Братья пошли через кусты к тому месту, откуда слышались голоса. Там, в одном из затонов Волги, купалось в воде несколько деревенских девушек. На берегу лежала их незатейливая одежда: рубахи и сарафаны из толстого домашнего холста. Степа хотел было броситься к купающимся и утащить подальше их одежду, уверяя брата, что это будет очень весело; но Александр удержал его.

– Не делай этого хоть для меня, сиди смирно, – сказал он.

Купающиеся девушки были в нескольких шагах от них; они плавали, ныряли вглубь и вновь появлялись оттуда, покрытые сверкающими брызгами от бегущей по их распущенным волосам воды. Они, сами не замечая, давали наблюдателю рассмотреть их торсы, плечи, окутанные мокрыми волосами, их трепещущие упругие груди. Картина была достойна кисти великого художника. Александр засмотрелся на эту картину, но как художник и поэт. Степа кипел и едва справлялся с собой, чтобы удержаться на месте. Он как горячая молодая легавая собака посматривал на брата.

– Кто это хорошенькая? Вон сейчас вынырнула из воды? – спросил Александр брата.

– Которая, толстая-то, что ли, круглолицая, с черными бровями? – указал Степа.

– Нет, вон ближе-то, тоненькая с белокурыми волосами.

– Не знаю, братец, тут их много, не знаю, которая тебе показалась.

Девушки вышли и начали одеваться.

– Уйдем, а то нас увидят, – сказал Александр.

– Которая же тебе показалась? – добивался Степа. – Сядем, братец, там, на дороге: они мимо пойдут, и ты укажи мне.

Братья прошли несколько шагов и сели около дорожки, под сенью густой ивы. Степа знал все дорожки и тропинки: девушки действительно пошли мимо них. Увидя бояричей, они сначала испугались и хотели повернуть в сторону; но, увидя, что Степа не один, а с ним сидит приехавший из Москвы боярич, которого они еще не видели, но уже слышали о его приезде, из любопытства решились пройти мимо бояричей, чтобы посмотреть на приезжего, о котором галдело все село. Проходя мимо бояричей, девушки отвесили им низкий поклон. Впереди шла молоденькая девушка лет пятнадцати или шестнадцати, с очень тонкими и миленькими чертами лица. Небольшое бледноватое личико, обрамленное повязанным на голове белым платком, от которого казалась еще бледнее, правильный носик, розовые губки и опущенные книзу глаза так и просились на полотно художника. Белокурые волосы, не заплетенные в косу, выбились из-под платка и чудной волной падали на плечи. Ее стан был тонок и гибок. Ее грудь не вполне еще развилась, но уже обрисовывала упругие выпуклости, плотно охваченные рубахой. Это была чисто идиллическая красота и невинность. Сарафан и рубаха ее были из толстого холста, но безукоризненно чисты. За нею шло еще до десяти деревенских девушек, но они были перед нею, как ночи перед днем.

– Здравствуйте, девушки, – ласково сказал Александр, – вот и я приехал к вам, а вы, чай, забыли и не узнали меня.

– Нет, боярич, мы тебя сейчас узнали, как только увидели, – отвечали сразу несколько девушек.

– А я вот вас и не узнаю, вы выросли, остановитесь-ка на часик.

Девушки остановились и полузакрылись платками. Они слышали от своих подруг, а некоторые постарше и сами помнили, что уехавший на Украину старший боярич был смирный, не то что Степа, а потому, не стесняясь, остановились; к тому же им хотелось хорошенько рассмотреть приехавшего боярича.

– Вот ты, кажется, дочь кузнеца Митрофана? – продолжал Александр, обращаясь к самой старшей, дородной чернобровой девушке; он не хотел прямо указать на белокурую красавицу.

– Нет, братец, это Акулька, дочь Вахрамки Кривого, – отвечал Степа.

– А ты чья? – спросил Александр, обращаясь к белокурой девушке.

Та покраснела и, потупя глаза, отвечала:

– Старосты Митяя дочь.

– А как тебя зовут?

– Анютой.

– Ну, мы с вами познакомимся в Троицу: по венки пойдем, – обещал Александр девушкам. – Я по-прежнему смиренный боярич, не такой, как этот озорник, – добавил он, указывая на Степу.

Степан и девушки засмеялись.

– Братец, коли она нравится тебе, попроси Ольгу взять ее в сенные, – предложил Степа после ухода девушек.

– Нет, зачем же отнимать у Митяя дочь, – отвечал Александр.

– Вот ты какой чудной, братец, ведь она холопка наша, стало быть, и воля над ней наша.

– А по-твоему, холопы – не люди? – отвечал Александр, улыбнувшись.

Они пошли домой той же дорогой, через рощу и огород.

– Не знаю, чем она тебе показалась, братец, – говорил Степа дорогой, – тоненькая такая. Вон – Акулька, много лучше, толстая да краснощекая, али вон сенные наши – те хоть нарядные.

– У всякого свой вкус, – отвечал Александр. – Да она не то чтобы очень понравилась мне, а я так спросил, все же она лучше других.

Около цветника их встретили сестры с Михеевной.

– Куда вы пропали? А мы весь огород, всю рощу исходили, искавши вас, – начала Ольга, взяв Александра за руку.

– Мы были на Волге.

– Злой Степа отнял у нас братца, – сказала Надя, взяв Александра за другую руку.

– Не бранитесь, после обеда буду сидеть у вас в светлице, – отвечал Александр.

На крыльце их встретил боярин.

– Вот вы где, а мы вас к обеду ждем, – весело сказал он.

Кончился обед, ушли холопы, и вся семья, по обыкновению, уселась на мягких лавках столовой отдохнуть и поговорить немного перед послеобеденным сном. Боярыня вновь начала разговор об интересующем ее предмете.

– Мы уж тебя, Саша, отсюда не пустим, – сказала она.

– Я и сам не уеду, если не позовут опять на службу, а если позовут, то долг присяги требует принести все в жертву отечеству, – отвечал Александр.

– Да мы тебя здесь женим, вот ты и не уедешь от нас, не бросишь молодую жену для какой-то службы.

По лицу Александра промелькнула грустная улыбка, точно воскресло какое-то воспоминание, но через минуту она изгладилась, и Александр покорно отвечал:

– Воля твоя, матушка, жени; только невесту приищи хорошую, а не то дозвожь самому выбрать. А может, прежде Степана пристройте.

Боярыня засмеялась; видно было, что ей по сердцу было такое предложение.

– Между нами будет сказано, у меня есть на примете невеста Степке, хорошая невеста, да и жених Ольге есть на примете.

Степан и Ольга покраснели и потупились.

– Хочешь, Степа, жениться, я тебе невесту уж сыскала? – спросила развеселившаяся боярыня.

– Воля родительская, – сказал, покрасневшись, Степа.

– А ты, Ольга, пойдешь за жениха, которого тебе приискала мать? – обратился боярин к дочери.

– Надо прежде узнать, кто жених, а потом и отвечать, – вступился Александр за смутившуюся сестру.

– Это еще что? – грозно сказала боярыня, лицо которой в одну секунду изменило веселое выражение на суровое. – Ты не вздумай еще и сестру научать из воли родительской выходить; сам-то, почитай, от рук отбился с своим-то ученьем, от дому отстал да и сестру-то сбить с толку хочешь.

– Полно, – перебил ее боярин. – Ты уж браниться начинаешь. Что это такое – не успел сын приехать, как она ссору заводит.

Александр, чтобы замять дело, начал разговор о другом. Общая беседа продолжалась с пол часа, после чего боярин и боярыня ушли в опочивальню, а боярышни в светлицу.

– Я приду к вам через полчаса, – сказал Александр сестрам.

Придя в свою комнату, он прилег на кровать и взял книгу. Но читать не хотелось; он положил книгу на стол и задумался. Его немного взволновал последний разговор с матерью.

«Что она какая сердитая, – думал Александр. – Да, впрочем, она была всегда такая. Я и здесь не найду счастья и покоя; и здесь мне придется бороться с вековыми предрассудками и плыть против течения. Впрочем, мне всю жизнь приходилось жить так, а не иначе». Тут воспоминания детства и юности промелькнули перед Александром. Образы один за другим рисовались в его воображении. Он видел отца и мать, какими помнил их в детстве; потом учителей Заиконоспасской школы и профессоров чужеземных школ. Вспомнил он свое катанье по Волге со стариком-дядькой; вдруг воображение обрисовало перед ним хорошенькое личико с белокурыми волосами, явившееся перед ним на берегу Волги несколько часов тому назад. Потом воображение явило другую красивую головку, с длинными, темно-русскими волосами, с черными, полными огня глазами и с прекрасным чисто южным типом лица. Вспомнил Александр Украину, город на берегу большой реки, польского пана, живущего в этом городе с шестнадцатилетней дочерью красавицей. Вот он в первый раз встретился с панной; он загляделся на нее. Она не потупила перед ним очей, как делают русские боярышни, а прямо, бойко и гордо смотрела на него. От первого ее взгляда сильно стукнуло сердце, заиграла кровь. Он, кажется, не спал всю ночь. А потом? Потом он постарался познакомиться с паном, проникнуть к нему в дом...

Любовь – великое слово; дар небес. Не все были любимы, да и не все так любили, как любил он. Вспомнил Александр то мгновение, когда он впервые сказал ей роковое слово, слово «люблю». Оно вырвалось у него прямо из сердца. Без слов, опустив свою чудную головку, слушала она его пылкие уверения; ее рука дрожала в его руке. Как она восхитительно хороша была в эту минуту! Все бы на свете отдал он, чтобы только эта минута повторилась. Пану нужно было ехать в другой город. Как они прощались, обещая навсегда принадлежать друг другу! Он не мог перенести долгой разлуки, послал своего верного Ивана к ней с письмом. Письмо дышало нежностью и любовью; он ждал от нее того же; но письмо ее было не таково: «Прощайте, позабудьте меня!» И причины разрыва, кажется, были написаны; но что в них: она не любит его больше. Слова: «Прощайте, позабудьте меня», – звучали в его ушах и болезненно отзывались в сердце, терзая его невыносимо. В пылу отчаяния он хотел умереть, но напрасно искал смерти. Несколько раз мысль о самоубийстве приходила ему в голову, но религия удержала его. Говорят, самоубийство – страшный грех.

Но вот в Москве он получает весть о том, что она выходит замуж за другого. Этого не мог он перенести и заболел очень опасно. Молодость взяла свое, он остался жив, но жил не на радость себе. Он еще раз был на Украине, видел много красавиц, но ни одна из них не затронула его сердце. Вот уже скоро три года, как он в последний раз виделся с нею, и, странное дело, во все эти три года он не обращал никакого внимания на женщин. «Все кончено», – думал он.

Но сегодня в первый раз заметил хорошенькую девушку. Неужели он полюбит или полюбил ее, как любил ту... Белокурая головка очень хороша. Да, она действительно хороша, но, к несчастью, она холопка, с нею счастье невозможно.

– Александр, ты что нейдешь к нам, а еще обещался сидеть у нас в светелке, – сказала Ольга, входя в комнату брата.

– Сейчас приду к вам, а теперь посиди у меня, – отвечал Александр.

– Что это у тебя, книга? Да, должно быть, не наша? – Ольга взяла со стола книгу.

– Да, это по-польски. Сядь здесь, Ольга, потолкуем; мы еще в первый раз с тобой одни. Скажи мне, как ты жила в эти годы?

– Жила, братец, все так же в тереме.

– И тебе не скучно?

– Я привыкла.

– Есть, по крайней мере, у тебя подруга?

– Как же, есть: вот боярыня Шихобалова, дочери Гаврила Гавриловича; из именитых-то, почитай, только они одни. Маша Липина, да дочь губного кой-когда приезжает из Самары, да еще кое-кто из небогатых.

– А жених-то у тебя кто, скажи?

– Что это, и ты, братец, за то же? – с упреком сказала Ольга.

– Нет, я не шутя думал, правда, что ж тут дурного.

Ольга зажала рот брату.

– Скажи, матушка всегда так строга? – спросил Александр.

– Разве ты забыл, она добрая, только уж делай и говори по ней, а то рассердится.

– Ну а отец-то, кажется, стал добрее?

– Нет, по-прежнему, это только из-за твоего приезда он весел.

– Что же ты делаешь, учишься, что ли?

– Я уж выучилась читать. Отец Григорий учил. Я прошла всю науку и с год ничему больше не учусь.

– Что же ты делаешь?

– Работаю в тереме. Теперь пелену в церковь вышиваю с санными девушками.

– А вот, посмотри, какие я книжки привез, – сказал Александр, вынимая из походного сундука несколько книг на латинском и немецком языках.

– Это не по-нашенски, – отвечала Ольга, взглянув на книги.

– А хочешь выучиться?

– Нет, зачем же, кабы наши, православные были.

Александр достал несколько славянских книг и небольшие картинки, писанные масляными красками, изображающие виды различных городов. Ольга рассматривала их с любопытством ребенка.

– А весело читать книги? – спросил Александр.

– Не знаю, братец, я ничего не читала, кроме того, что учила; учиться-то скучно.

– Вот, я прочту тебе свои записки об Украине, хочешь послушать?

– Читай, я рада буду.

– Только не сейчас, теперь потолкуем кое о чем. Писать ты умеешь?

– Начинала учиться, да плохо, почитай, вовсе не умею.

– А вот в Польше, сестра, панны – это их боярыни-то – все пишут, и в немецкой земле тоже. Там вовсе другие порядки, там и не прячутся, как у нас.

– Да ведь там, братец, не православные.

– Там и женихов и невест сами себе выбирают.

– Опять, братец, за то же, – упрекнула Ольга.

– Тебе неприятно? Не буду. Наши порядки лучше. Ну, не сердись теперь?

– Я не сержусь.

– Мы будем учиться, Ольга; я буду твоим учителем. Не бойся, я не такой учитель, как отец Григорий, со мной будет не скучно, весело будет, – ласково говорил Александр сестре.

– Попробуем, коли не скучно будет, буду учиться, – отвечала Ольга.

«Да, нужно заняться ею, – думал Александр, глядя на сестру, – а то, боярышня ли Артамонова, сенная ли Афроська, дочь ли старосты Митяя – все, кажись, одно и то же, только напыщенности больше у наших боярышень».

Пришла и Надя в сопровождении мамушки Михеевны и принялась рассматривать картинки.

– Что это, никак образа? – спросила мамушка.

– Нет, не образа, а картины, города разные, – объяснил Александр.

– Чай, и Киев святой, и Русалим есть? – спрашивала старуха, начиная рассматривать виды.

– Киев-то есть, а Иерусалима нет: тут все украинские и польские города, – отвечал Александр.

– Неверные, выходит, и глядеть-то на них, чай, грех, – сказала старуха и перестала рассматривать.

– А сегодня гости будут, братец, я тебе забыла поутру-то сказать, – крикнула Надя.

– А ты почему это знаешь? – спросил Александр.

– Да я давеча поутру в перину чихнула.

– Так поэтому будут гости? – сказал Александр и засмеялся.

– Чего, боярич, смеешься-то ты, – в сердцах сказала Михеевна. – Чиханье, известно, Божье предзнаменование, да и смеяться-то грех над этим; во время чиханья сто ангелов Божьих нарождается, конечно, если поздравствуешь от доброго сердца. Вот оно что.

– Ах, какие хорошенькие картинки, надо брата Степу позвать. Мамушка, сбегай, позови его, пожалуйста, – попросила Надя.

– Сбегать-то я не сбегаяю, а тихонько дойду, пошлю Данилку разыскать, – отвечала старуха и ушла из горницы.

Александр повернулся к сестрам:

– Всякому вранью вы верите. Вот погодите, я вам все расскажу и о чиханьях и о предзнаменованиях. Я думаю, вы будете мне верить больше, чем мамушке Михеевне, а?

– Еще бы, братец, ты учился разным наукам и все знаешь, – сказала Ольга.

– Саша, ты умный у нас, – добавила Надя, обнимая брата.

На дворе раздался лай собак, и кто-то галопом подскочил к крыльцу. Надя бросилась к окну.

– Ах, кто-то приехал, – торопливо сказала Ольга. – Как бы сюда не пришел, а мне и закрыться-то нечем, покрывало в светлице осталось.

– Зачем он сюда пойдет? Если из гостей кто, то в хоромы пройдет, – отвечал Александр.

– Сестрица, это князь Дмитрий Юрьевич, – сказала стоящая у окна Надя.

– Братец, куда я денусь? – говорила раскрасневшаяся Ольга.

– Что ж за беда, что без покрывала. Он тебя съест, что ли? Да вздор, его сюда не пустят, – успокаивал ее брат.

В сенцах раздалось топанье сапог и громкий голос спрашивал: «Дома боярич, Александр Сергеевич?» – «Дома», – отвечал голос старика Якова, дядьки Степана. «Где он?» – «У себя в пределе, да туда ходить нельзя, там боярышни: пожалуйста в хоромы». – «Вздор, я прямо к нему, чего мне делать в твоих хоробах», – продолжал говорить громкий голос.

– Ах, братец, что мне делать? Мамушка узнает, беда, – говорила Ольга.

– Никакой беды нет, – сказал Александр. – Ну, да я, пожалуй, не пушу его, уж когда ты не хочешь. – И с этими словами он направился к дверям, но было уже поздно: они отворились, и в комнату вошел князь Бухран-Туруков.

Взгляд князя упал на Ольгу: она покраснела, а князь ловко и ухарски отвесил ей низкий поклон, потом бросился на шею Александра. Тем временем Ольга и Надя приближались к двери, чтобы уйти.

– Простите, боярышни, что беспокоил вас, – сказал князь, быстро освобождаясь из объятий Александра и вновь кланяясь боярышням. – Я хотел поскорее увидеть этого молодца, моего товарища.

Боярышни поклонились князю и вышли из комнаты. Князь вновь бросился обнимать Александра. Обниманье и целованье продолжалось несколько минут.

– Ах, Саша, боярич мой, любезный друг сердечный, насилу-то я тебя увидал. Давно мы с тобой, друг, не виделись, с той поры, кажись, как в Литве воевали, – скороговоркой произнес князь.

– А я, – сказал Александр, – на первой же поре тебе претензию представлю: зачем ты вошел прямо сюда, когда знал, что у меня сестра?

– Не знал, ей-богу, не знал, – забожился князь.

– Как не знал, Яков тебе говорил, я сам слышал.

– Не разобрал, позабыл, думал по-украинскому, ничего. Ну, не сердись, голубчик, сердечко мое.

– Про украинский-то обычай пора забыть; ты давно уехал оттуда?

– Давно, брат, с той поры как выгнали. Ну, не сердись, голубчик.

– Да я и не сержусь, а так сказал, чтобы ты вперед был аккуратнее.

– Да по правде сказать и сердиться-то не на что, – говорил князь. – А тебе, брат, и подавно сердиться на это не приходится; тебе, брат, все здесь нужно по-своему повернуть, к черту отправить все эти фабалы и боярские спеси. Живи, брат, так, как душе твоей хочется. Помнишь, как жили мы с тобой в польской земле?

– То в Польше, а то в России, – отвечал Александр, – по-моему, и здесь бы ничего, но ты забыл, что я здесь живу не один, у меня отец и мать, они не позволят.

– Ну, ладно, больше об этом не будем говорить. А славная у тебя сестренка, брат?

– Это еще что?

– Ну, не сердись, я так, спроста. А вот мы и увидались. Я как услышал, что ты приехал, сейчас на игреньку – да к тебе. А ты-то до сих пор не приехал ко мне.

– Помилуй! Я вчера только приехал.

– Ну а сегодня ко мне, у меня ночуем. У меня тебе будет хорошо: заморское вино у меня славное.

– Сегодня нельзя: я еще с родными не успел хорошенько повидаться и поговорить.

– А я-то разве чужой? Первый друг – да чужой, это не хорошо, – с упреком сказал князь.

– Сегодня меня ни за что и не отпустят да и самому хочется отдохнуть после дороги.

– Ну и отдыхай у меня сколько душе угодно. У меня спокойно и весело, чего недостает, чисто Магометов рай.

– А ты рай-то Магомета еще не бросил? – с улыбкой сказал Александр.

– Зачем бросать, что ты! Я ведь один, сиротой живу, чем же мне забавляться-то? Эх, брат, теперь заживем с тобой весело.

– Не хочешь ли с дороги закусить?

– Пожалуй, выпьем. Вели подать сюда, а я покуда покурю, у тебя можно курить? В большой-то гостиной избе, я знаю, что нельзя: боярин и боярыня духу табачного не терпят.

– У меня можно. Ты знаешь, я и сам прежде курил трубку, да вот года два как бросил.

Князь вынул из кармана коротенькую трубочку, на манер казацкой люльки, и шитый золотом кисет с английским табаком и принялся набивать трубку. В то время было мало трубок в России, и те, которые курили это зелье, курили его в рогах. Трубки были в редкость и встречались только у людей богатых да у казаков. Набивши трубку, князь вынул кремь и огниво, высек огня и закурил трубку. Явился Иван и принес бутылку вина, из которой тотчас налиты были два кубка.

Александр с любопытством рассматривал своего бывшего товарища. Он с князем познакомился в детстве, сталкивался с ним – один раз на службе да приезжал на побывку домой, лет пять тому назад, виделся с ним.

«Все такой же он, – думал Александр про князя. – Я думал, он в эти годы остепенился, но нет, каким был, таким и остался. И что за человек: не то татарин, не то казак, боярского-то в нем мало. А кажись, парень недурной, только приладиться не может да блажит. Впрочем, и он так же, как и я, плывет против течения; но только не так, как я, а по-своему. Ну, да и плыть-то ему легче, чем мне: простору больше и препятствий нет».

– Что задумался, друг? – крикнул князь, поднимая кверху кубок. – Пей – тоска пройдет. «Легко живется ему на свете», – подумал Александр.

Проснувшийся боярин Сергей Федорович, узнав о приезде князя, не послал звать его к себе, и князь сидел у Александра. Просидев часа полтора, они пошли в конюшню осматривать лошадей, к ним пристал и Степа.

– Люблю я твоего братишку, и он меня любит, да твой батюшка не пускает его ко мне, – сказал князь Александру.

– Отчего же это? – спросил Александр.

– Не любит он что-то меня, – отвечал князь.

Возвращаясь с осмотра, они на крыльце встретили боярина, который вышел прогуляться после послеобеденного сна. Князь и боярин поздоровались очень радушно, и боярин пригласил князя к себе в золотую палату. Хотя не любил его боярин, а кровной вражды между ними не было. Князь был гость, а гостеприимство должно быть соблюдено. В большой палате князь вел себя чинно. Говорил с боярином очень вежливо и радушно о разных хозяйственных делах. По обычаю, князю поднесли кубок вина; но кубок не был поднесен боярыней: это была бы уж слишком большая честь для князя. Боярыня даже не выходила к нему в золотую палату.

Князь просидел в палате с час и, собираясь домой, взял с Александра слово, что он на днях приедет к нему в Бухрановку.

Между тем в девичьем тереме дома Артамоновых сидели за работой восемь сенных девушек. Терем был – обширная комната, выходившая двумя окнами на площадь села. В углу комнаты помещалась большая печь с лежанкой. Два больших белых некрашенных стола стояли против окон. По сторонам шли лавки. Кроме того, в тереме было четыре стула и несколько скамеечек. Пол терема был плотно сколочен и очень чист, так что всякую упавшую бисеринку можно было без труда сыскать и вновь употребить в дело. Девушки работали. Четыре из них шили, две вышивали и две вязали. Сторож сенных девушек – Агапка – сидела тут же и вязала чулок. Мамушка Михеевна, по привычке, улеглась на лежанке, положив под голову маленькую подушечку на сделанное в одном конце лежанки возвышение, и спала сладким послеобеденным сном. Девушки, тихо шелестя работой, тоже позевывали и посматривали в окно на улицу, где приветливо светило солнышко и где на свободе гуляли их подруги, крестьянские девушки.

– Господи, день-то деньской какой долгий, – сказала сенная девушка Настя, – кажись, и конца ему не будет.

– Хоть бы скорее праздники пришли: Семик да Троица, хоть бы на вольный-то свет взглянуть, а то, шутка, летний день в терему сидеть, – отвечала ей тихо другая, молодая краснощечая девушка Афрося.

– Чай, в Семик боярышни по венки пойдут, – добавила сенная Парашка.

– Нас, чай, возьмут, – сказала Настя.

– Меня боярышня обещалась взять, – отвечала Афрося.

– Тебе ладно, ты и в прошлый год ходила по венки, И ноне возьмут, – сказала ей низенькая, смуглая, веснушчатая девушка Варя. – Тебя любит боярышня, а меня, пожалуй, ноне не возьмут, скажут: «Ты в прошлом году ходила, теперь других надо взять».

– Известно, надо черед соблюдать, – отозвалась Агапка, – всегда по череду отпускают на игры. Ну-ка, чего вы тут нашили, – продолжала она, положив свой чулок на стол и подходя к девушкам, которые шили.

– Ну, это так, – сказала она, осмотрев работу Афроси. – А ты что как коробом стянула, – обратилась она к Насте, – ишь, как скоробила, куда буркалы-то распустила. Все на улицу смотришь, а не на работу. – И хлясткий звук пощечины огласил комнату.

– Вот я боярыне пожалуюсь, она тебя... Ишь, испортила телогрейку-то, – говорила Агапка.

– Тетушка, виновата, ошиблась, исправь как-нибудь, не сказывай боярыне! – взмолилась Настя.

– То-то не сказывай, смотрела бы хорошенько на работу, а не на улицу, – говорила Агапка, – давай-ка я поправлю. Эх, глаза-то плохи стали, – говорила она, распарывая работу. – Афрося, поправь-ка ей, – добавила она, обращаясь к Афросе, лучшей мастерице.

Ольга и Надя вошли в терем. Девушки принялись за работу.

– Мамушка, мамушка, мы князя Дмитрия Юрьевича видели! – кричала Надя.

– Где это? – с удивлением спросила мамушка, вставая с лежанки и жмурясь.

– У братца у Саши: мы не успели убежать, а он взмолился да и поклонился нам, – отвечала Надя.

– Есть чему радоваться, – ворчала старуха, позевывая и крестя рот. – За это вас обеих побранить бы следовало: непристойно боярышням на глаза чужому человеку показываться. Да ты, мать моя, никак и без покрывала? – обратилась она к Ольге. – Так и есть. Ахти господи! Вот узнает боярыня, пропала моя головушка. Уж молчали бы лучше, коли наглупили да напроказили. Эх, нельзя вас на минуту одних оставить. Ну, думаю, с большим братом сидят, сосну маленько; вот и проспала. Ох господи!

Ольга не вступала в разговор Нади с мамушкой. Лицо ее горело. Она молча села за работу у окна и начала вышивать по белому бархату пелену в артамоновскую церковь.

– А что ни говори, мамушка, а князь Дмитрий Юрьевич чистый сокол, – дразнила мамушку Надя, – эдаким ловким только братец Саша глядит.

– Молода еще, мать моя, хвалить-то людей, – ворчала Михеевна. – У тебя и разуму не хватит отличить сокола от ворона.

– Сокол, чистый сокол, – говорила Надя.

– Ну, уж и нашла кого хвалить, – продолжала ворчать старуха. – Выкрест, сердитый такой, да и старый, уж за него, чай, ни одна боярыня и замуж-то дочери не отдаст.

– Ах, мамушка, он не старый. Ловкий такой! Как подкатил к крыльцу, а как вошел-то, то поклонился нам: «Простите, говорит, боярышни, что я вас потревожил», да так на нас, а особенно на Ольгу взглянул!

– Что ты врешь, Надя, – отозвалась вспыхнувшая Ольга. – Не верь ей, мамушка, мы хорошенько-то не успели и разглядеть его, в дверях только повстречались.

– Ему бы только глаза пялить: дрянь-боярич, – ворчала старуха. – Какой уж он человек, прости господи; трубку курит, почитай, не христианин. И глядеть-то на него непристойно. Вон воеводский боярич – так боярич, и похвалить не грех: ровно красная девушка, молоденький такой да смиренник; а это что? – дрянь.

Ольга подняла глаза на мамушку и сказала:

– Нашла уж и ты кого хвалить, Михеевна. Видела я его один раз, он говорил с батюшкой: вялый какой-то и слово-то бойко сказать не умеет.

– Смирен, так это ему же лучше, – отвечала Михеевна. – Смирных Господь любит и находит своей милостью. А тебе, мать моя, тоже непристойно ни хвалить, ни хулить его: он жених, а ты тоже невеста, – вот оно что.

– Уж не мне ли ты его в женихи-то прочишь? – спросила Ольга.

– Кто знает, мать моя, на все воля Божья да родительская.

– И воеводский боярич хорош, он, слышь, тебя сватать хочет, – засмеялась Надя над Михеевной.

– Тебе бы только смеяться, стрекоза, вот я уже пожалуюсь боярыне, что ты сегодня словно сбесилась, – ворчала старуха.

– Мамушка, не сердись, – отвечала Надя, – я так это, пошутила. – И она бросилась обнимать и целовать старуху.

Когда все собрались за ужином и речь зашла о сегодняшнем госте-князе, боярин сказал:

– Не люблю я этого князя. По-боярски он жить не то что не умеет, это бы еще ничего, а просто не хочет. Я бы не хотел, чтобы и ты с ним в дружбу большую входил, – прибавил он, обращаясь к Александру.

Александр увидел в этом слове весь деспотизм своего отца, но, решив не идти наперекор, а провести свою мысль и освободиться от деспотизма отца незаметно, он кротко отвечал:

– Что ж, если ты не хочешь, я к нему не поеду; только неловко будет с моей стороны: все же мы товарищи.

– Не то что не ехать, – как не ехать, не ехать нельзя; он хоть и выкрест, а рода знатного, и опять же твой товарищ, а в дружбу большую не входи, – вот что я говорю, – отвечал боярин.

Боярыня ласково взглянула на сына: «Какой Сашка-то смирный стал после давешней остротки», – подумала она.

«Ну, с отцом еще справиться можно», – подумал Александр.

– И бесцеремонный какой, – говорил, смеясь, боярин, – зашел, другой бы отказался, ведь я у него года два как не был.

Вечером, ложась спать, Александр сказал брату:

– Ольга, брат, учиться хочет.

– Что ж, пусть учится, коли охота, – равнодушно отвечал Степа.

– А ты хочешь учиться?

– Я уж выучился, будет с меня.

– Что же ты делаешь, брат, – сказал ласково Александр, – не служишь, грамоту плохо знаешь, а учиться не хочешь?

– Братец, задумываем свечку, мы и так услышим друг друга, – предложил Степа.

– Я не о свечке тебе говорю.

– Я слышу, братец, а свечку-то погасить надо, – настаивал Степа и задул свечу.

– Послушай, брат, – продолжал Александр, – нынче начинают уж всех учить. Вот как бы ты посмотрел, какие в Москве бояричи, которые воротились из других земель! Они не одну азбуку Бурцева прошли: все знают. А если бы ты понял, как весело учиться, как хорошо знать, что делается на свете! Как интересно посмотреть на далекие земли. Да и по нашей-то России проехаться хорошо, особенно человеку со знаниями. Ну, ты хоть попробуй немного поучиться! – так говорил Александр.

Но что это, – не обманывает ли его слух? Раздался храп Степы. Нет, это точно он храпит!

– Ну, это, верно, не Ольга, от этого, кажется, не будет прока, – сказал Александр. Но Степа его не слышал – он крепко спал.

VIII

Через два дня после посещения князем Артамоновки Александр, в сопровождении четырех холопов, ехал верхом по дороге в Бухрановку, вотчину князя. Боярич хорошо ездил верхом, хотя не был таким лихим наездником, как князь. Сдерживаемый поводками, застоявшийся на боярской конюшне гнедой жеребец Сокол, прядая ушами и изогнув красиво длинную шею, шел тихим галопом. Александр был в кафтане драгунского подполковника. Весна цвела в полной своей красе. Дело было на Троицкой неделе, дней за пять до Троицы. По дороге из Арта-

моновки до Бухрановки, шедшей по волжской уреме²⁴, не было ни одного жилья; только в стороне от дороги виднелся хутор Липина. Холопы ехали в некотором отдалении от боярича, позади него, готовые по первому его слову или знаку броситься к его услугам.

²⁴ *Урема* – поречье, поемный лес и кустарник по берегу реки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.